

**Салим Фатыхов**

# МГНОВЕНИЯ БЫТИЯ...

*(Неопубликованная проза 60-х  
и середины 70-х годов)*

Челябинск-Екатеринбург  
2014

**УДК 82-32(081.2)**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**  
**Ф27**

**Фатыхов С.Г.**

Мгновения бытия... : неопубликованная проза 60-х и сер. 70-х годов. Челябинск, Екатеринбург, 2014. — 184 с.

**ISBN 978-5-7114-0485-9**

Посвятив десятилетия написанию фундаментального труда «Мировая история женщины», Салим Фатыхов оставил свои прозаические опыты и обратился к ним только тогда, когда приводил в порядок домашний архив. Значительное количество написанного безнадежно утеряно, но несколько новелл и рассказов, незаконченных этюдов и набросков все-таки сохранилось, и в какой-то мере дают представление о художественных рефлексиях их автора.

Подборку неопубликованной в большой печати прозы автор назвал «Мгновениями бытия...» и разделил ее на две части. В первой («Здесь и сейчас») представлены малые прозаические формы, отражающие псевдо-оптимистический, с трагическими развязками советский быт конца 60-х и середины 70-х годов. Во второй («Там и тогда») сделаны попытки художественных реконструкций доисторических (палеолит), а также исторических (Средневековье и первая четверть XX века) жизненных и политических коллизий, переживаемых гипотетическими героями этих эпох.

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

# **ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС**

*(прозаические опыты о настоящем)*

## КРУГОМ ЛЮДИ...

(зарисовки к рассказу)

### I

**В** этот вечер погода в Мелентьевке стояла тихая: она просто устала после полуденной едкой поземки. Но снег все еще неистово хрустел под сапогами, мешая сверхсрочнику, сержанту Цыбину, делать шаг крупным, размашистым, как бывало сержант демонстрировал его на плацу. Улица, по которой он сейчас шел, отдавала скукотой и белела сморщенной простыней на целый километр, упираясь в серый и тоже угрюмый с виду квартал новостройки. Одиноко скрежетали обледенелые деревья перед окнами покосившихся домов. Приглушенным хрипом изредка лаяли на скрип сапог собаки...

Напротив дома Крымова вслед за скрипом сапог раздалось просящее мычание коровы, жаждущей воды или клочка сена, а впереди вдоль полисадииков, вспоротые кое-где лопатами, развалились сугробы — голубые, высокие, как в Сибири. Часть сугробов свисала с застарелых ворот пышными беличьими хвостами прямо к пришибленным калиткам.

Вечер едва вывалился из-за гребня горы, но уже вытолкнул редких прохожих в протопленные дома, поэтому на улице стояла

пустынь. А, может, усталость пришибла уличную суету? Нароботались люди в застенках фабрики, намазались, насмеялись, наплакались — пора отдохнуть...

Сам-то сержант спешил домой не к праздничному столу: неделю назад дивизионный почтальон, ефрейтор Суюнбаев, со словами: «Пляши, джигит!» вручил ему письмо. Сообщалось в нем, что отец Цыбина находится при смерти, и что хорошо бы ему отпроситься у командира и приехать домой. Письмо написал сосед — старый плотник и друг отца Трофим Сухмарев. Правда, он сообщал одновременно, что сам Петр Иванович Цыбин категорически против этого, уж больно гордится старый друг службой своего сына.

Тяжело, конечно, от подобных вестей, пакостно, каждому хочется посочувствовать их получателю, высказать слова утешения, обласкать. Командир дивизиона хотел так и сделать, но не смог — служба отучила. Цыбин безупречно дослуживал последний месяц. Все, что командир мог, он сделал — выхлопотал у высшего начальства разрешение на досрочное увольнение Цыбина. Вот почему еще Андрей Цыбин сейчас на пути к дому.

...Сапоги утаптывают снег, а сам он идет по родному поселку, вглядываясь в очертания сгорбленных под снегами крыш, пытаюсь по каким-нибудь неуловимым признакам догадаться о синоминутном состоянии отца.

Нет, ни в строениях, ни в природе, ни в редких прохожих не заметно трагического тонуса бытия. Только у самого сержанта по некрасивому скуластому лицу улиткой сползают соленые капли. Когда они прохутили веки его? Может, сейчас? Может, еще раньше, в поезде дальнего следования, домчавшего его из голубого дальневосточья за шесть полноценных суток?

Ощущая забытый на службе солоноватый привкус, сержант продолжает думки свои про отца, Петра

Ивановича. Немало с тех пор утекло воды, когда Петр Иванович по накатанным гражданской войной тропам забрел в поисках личного счастья в казачью станицу Мелентьевку, освоился с непривычным началу укладом жизни степных людей, а потом, устав от лишений, бед и разлук, решил на семейную жизнь с молодой татаркой, а его, Андрея, будущей матерью. Неужели отец дошел до порога небытия, на двадцать лет пережив жену? А еще, став на войне калекой и кое-как заработав пенсию на фанерной фабрике, где прослужил контролером ОТК два десятка лет?

Как что-то самое дорогое на свете сержант вспомнил скупую и робкую отцовскую ласку... Поросший молочаею крутой берег Урала... Голубую дрему далекого июньского дня. Ватага мелентьевских мальчишек отбивает в степи атаку невидимого вражеского войска. Зной... духота... пыль! «Э-э-эй, — кричит издалека его товарищ, Вовка Куян, — обходи справа, справа, атошь окружают...». Он, Андрюшка, понял маневр противника. В коротеньких холщовых штанишках, заношенных до десятых дыр, разгоряченный атакой, помчался, прутком разрубая над головой горячий степной воздух, в сторону крутого уральского берега. Ветра рвали его смоляные кудри, кололи дымящуюся и вздымающуюся грудь, а когда острые береговые камни осыпающимся гулом своим забили вырвавшуюся наружу боль, повернули и пошли гулять в заморенную степь.

...В чистой городской больнице за ним ухаживала соседка Ивановна. И хотя добра она была необыкновенно, успокоение приходило лишь тогда, когда на пылающий лоб ложилась корявая отцовская рука, а до сознания доходили его взволнованные и простые слова: «Шаловливый, с такой-то верхотуры прыгать... Не Чапай, поди...».

## II

...К родному дому сержант подошел, когда сугробы на крышах потеряли свою броскую красоту, поблекли и осели под тяжелым пологом смутной, начавшейся только что ночи. Жизнь в Мелентьевке окончательно изменила свой ход: в последний раз глухо стукнула чья-то калитка, мандариновым светом призывно засветились вокруг окна. С горного кряжа потянуло слабым ветерком. Он сорвался с каменных шиханов еще затемно, но, проходя глубокие лога и перевалы, потерял изначальную силу и добрался до жилья каким-то чудом.

То ли от этого ветерка, то ли от того, что у порога родного дома холодно блестела нетронутая снежная скатерть, у сержанта больно встрепенулась грудь... Он распорол сапогами голубую пену снега, сел на крыльцо уже с ослабевшим сознанием, не понимая, что же теперь осталось у него на земле: или этот холодный ко всему снег, или только горькое восприятие невыносимого одиночества. Потом застонал, как в детстве, когда падал с обрыва, и стал ждать. Кто его услышит и кто явится... Ведь должен ходить над каждым человеком невидимый помощник, чтобы прийти на помощь...

## III

За два дня до приезда сына Петр Иванович Цыбин, призвав в дом соседа Сухмарева, произнес, слабая:

— Отхожу я, Трофим Егорыч... нонче, поди уж. За дружбу твою верную, солдатскую — спасибо хочу сказать... А еще... про Андрюшку слово... Береги его, сынка...

Сказал так и умер спокойно, как будто крепко был уверен, что недожитая жизнь его будет дожита другим так же хорошо, как им самим. Сухмарев со своей

Ивановной похоронил старого друга за морозной рощицей и два дня, поминая его, пил анисовую. Минутами он трезвел за столом, трогал порыжевшим пальцем вислые усы и, словно припоминая что-то, оглядывал на стене поблекшую фотографию — хмурые фронтовики на фоне райского пейзажа.

Ивановна прощала гульбу мужа. Знала сама — трудно старику, потерявшему друга. Поди, с начала войны и до сорок третьего вместе били немчину. Потом уж и другого горюшка хлебнули. Трофим за плен страдал, а Петр Иванович, незабвенный, контузией маялся.

Дом Сухмаревых — бревенчатый, но добротный еще, как и Цыбинский, стоял на самом краю поселка, подставляя степным ветрам свои лобастые стены. Не было между двух дворов ни понурых заборов, ни самостийных тропок до улицы, ни других извечных препятствий для доброй соседской дружбы. И все знали — нерушима она и вечна, как их ковыльная степь, дающая усладу сердцу и покой нервам. А что же было и делить соседям, когда они знали жизнь и ее явления получше любых парторгов, начальников, министров. Творили они в ней смело, честно, непогрешимо...

#### IV

В этот вечер Трофим Егорыч во второй раз послал Ивановну за спиртным в поселковый продуктовый магазинчик, а теперь дремал за столом, разморенный теплом и алкоголем. Днем он одержал победу на фабрике — добился металла для сварки могильной ограды другу, и эта победа внушала захмелевшему ему уверенность в своих дипломатических способностях. Каким-то образом, полагал он, она оправдывает его



борьбу с душевной разрухой посредством вина или водки. Ивановна, возвратившись, уже терпеливо хлопотала у кухонной плиты. Ей второй раз послышалось, что у соседей шабаркает кто-то, под тяжестью чьих-то шагов скрипит половица крыльца, но она отмахнулась от этого, как от наваждения.

— Ты, старик, устал бы что-ль? — сказала она вдруг отчужденно. Сердце ее, наконец, не выдержало и пролило горечь в слова. — Коль немоготу стало, поплакал бы! Ведь, эчко прозеленел как...

— Ничо, — пьяно заговорил в ответ Сухмарев, — бабья брекотня! Бабье дело молчать, а не разговоры разговаривать. Вся бабья сила в язык ушла... Ты сама-жа, того... кхм, кхм...

Он не договорил, увидев, что жена сильно заморщилась, но минуту спустя добавил:

— Эх, Марфа, и вправду: огнем огонь не затушишь...

Чтобы замять неприятный разговор, Ивановна проговорила тихо:

— Пойду-кась во двор. Кажись, есть там кто-то, — и, пришептывая сыздетства привычные слова молитвы, юркнула за дверь.

Трофим Егорыч и стакан не сноровился наполнить как Ивановна вбежала, запыхавшись, назад:

— Ах, батюшки! Радость-то какая, радость-то...

У Сухмарева от невероятной, но настоящей догадки стукнуло под ложечкой...

— Ну что ты, старый, пнем-то сидишь...? Глядь кто пожаловал к нам...! Проходи, Андрюша, голубь...

Из тумана морозного воздуха шагнул в комнату военный. Трофим Егорыч тяжело поднялся из-за стола, нетвердо вскинул побелевшую с годами голову и, не сдержавшись, густо заплакал, прислонившись к плечу сержанта:

— Не брехал я тебе, старуха... отпустили, вишь — отпустили...

— Ох, Андрюша, сокол ты наш... папаня твой... не дождался, сердечный...

— Эх, жизни момент!

Цыбин молча обнял стариков. Все в доме Сухмаревых было знакомо сержанту: здесь пахло теми же запахами, что и в детстве, что и три года назад, когда он пришел с отцом попрощаться перед уходом в армию. Здесь часто зимними вечерами слушал он рассказы Трофима Егорыча о немецком плене, о допросах в спецприемниках ЧК, а потом и КГБ. Здесь он играл с котом Караем, читал старикам детские книжки. Как и в родном доме, каждая вещь напоминала о чем-то.

И сейчас ничего не изменилось в доме Сухмаревых. Те же тюлевые занавески с выцветшими чернильными пятнами, тот же нарисованный местным фотографом коврик с плавающими лебедями, ходики с пшеничными колосьями на циферблате, зингеровская швейная машинка... Только в углу комнаты, где когда-то висела старенькая иконка, теперь стояла новинка — телевизор.

— Что же это мы застыли, а? — встрепенулся после минутного молчания Трофим Егорыч, — с дороги, чать, Андрюха!

Минуты спустя Ивановна принесла на стол блюдо с кочанной капустой, разварную картошку, крупно нарезанные, лоснящиеся куски сала. Сухмарев и Андрей уселись за стол, выцедили всклень налитые стаканы, подождали пока огненная жидкость прожжет нутро и тысячами искорками разольется по телу.

— Эх-ма...! — начал, наконец, чуть протрезвевший от радости хозяин, — ноне водка у Козыревой Марьяшки не смоченная водой-то. Ревизией мужики пристращали...

— Нашел о ком балакать! — Тут же встрепенулась Ивановна. — Поди не о водке и девках на душе думки. Ты лучше про отца сказал бы Андрею, про отца... Чать, тебе Петр Иванович его доверил... сиротинку... Один единешенек Андрейка остался...

— Да, что ж я... не об этом, что ль, — взвинтился в ответ старый. — Говорю жа тебе, не любил Петро, кады народ омманывают, и сердце, вот, изнаждачил из-за того. А ты что ж, думала, пора что ль пришла? Кабы не так... — и Сухмарев отчаянно заскреб ложкой по своей тарелке:

— Похоронили мы его, сынок, по закону, за рощей на Семеновском погосте. Народ подсобил... Из цеху машину причандалили. Будь насчет этого спокоен. Народ он народ. Завсегда. Брешет Ивановна: «си-ро-та!». Кругом люди... только оглянись...

Цыбин преодолел пустоту, в которую рухнул, еще у порога догадавшись о смерти отца. И сейчас понял, что Мелентьевка, в которой вырос, спасет. Ему здесь придет успокоение. Тем более у этих добрых людей. Он смотрел на рыжее, в слезах, лицо Сухмарева, на сморщенный лоб Ивановны и думал про себя: не сирота он. Отца не стало, но есть на свете они. Есть у него Мелентьевка. Есть Ивановна — родная старушка, не узнавшая сама тепла и ласку собственных детей. Она широка в кости, но скоро на руку. Ходит простоволосой, с маленькой чистой косичкой. Трофим Егорыч, хоть и плохим помощником был в ее хозяйских делах, всегда мог сговориться с людьми, всегда решал проблемы. А они лезли в жизнь, как тараканы из-под трухлявых плинтусов. И отцу помогал...

Волновую череду мыслей прервала Ивановна:

— Размечтался, старый: кру-у-гом лю-у-ди! Где они? Народу много, человек — раз, два. Кругом, го-

воришь? Не весь народ — люди! Где ты их увидел? Вона у нас из народа кто... Одни глазами зыркают, чаво не так сделал.. Побегут, скажут. Другие яму тебе роют. Еще другие — крадут. Откендливо, вот, людей из такого народа набрать?

Иван Трофимыч не ответил. Захмелел пуще, когда вспомнил, что это, ведь, он вызволил из Армии Андрея. А потом уснул за столом от жалости к нему — с отцом не успел Андрюха попрощаться...

## V

Неделю отсиживался Андрей Цыбин в доме отца и в маленькой кухоньке Ивановны: старая словно помолодела, расправилась в заботах о нем. Потом Цыбин постепенно стал выходить на край улочки: вначале в шинели, потом в отцовской фуфайке, а вскоре пальтишко старое свое отыскал — еще справное.

В один из вечеров, когда он проходил мимо дома Сердолика Крымова, во дворе которого уже не мычала корова, кто-то подкрался сзади и махнул ладонью по шапке. Оглянулся — воротило чуть ли не в три аршина, скривил морду, прищурился:

— Че то, быстро забыл другана? Пойдем батьку твоего помянем...

Цыбин лишь на минутку замешкался, а потом обнял, как мог, верзилу:

— Вовка, ты что ли? Винюсь, но сам знаешь...

— Знаю, чо там! — Успокоил его Вовка Куян. — Поэтому и не брякал в калитку к Сухмаревым. Ивановна все равно не пустила бы...

Ну, вот, еще один человек сыскался из поселкового народа, подумал Цыбин. Андрюха надежный парень, по детству он его помнит. И как пасли с пацанятами коров

в логу за Мелентьевкой. И как Сухмарев за затяжку из самокрутки с махрой навешивал им на плечи заботу о своей Буренке: та самовольничала, убегая к кладбищенской ограде, где травостой был отменный. Сам Трофим Егорыч из-за ранения на фронте не шибко поворотливым был. Сидел на пригорке, покрикивал и покуривал. А он, Андрей, и Вовка Куян, бегали разворачивать Буренку и своих рогатых кормилиц до пота в подмышках... А еще помнит, как в войнушку играли на берегу Урала. Носились, рассекая прутьями июльскую духоту: «В атаку! Бей их, руби-и-и! Тогда он в погоне за мнимым врагом рухнул с крутого берега, вывернув бедро и сломав руку. Вовка Куян не растерялся, выволок его в степь, сбегал за отцом, а потом тащил вместе с Петром Ивановичем до фельдшерского пункта...

— Пойдем, помянем, — прервал его воспоминания Вовка Куян. — Начальство на Масленицу закрыла продмаг. Мы сразу к Марьяне. Она своим не отпускает из дома. Фигушки, говорит. А ежели гость приедет, или свой из далека возвернется, — обеспечит! Тебя не знает, отпустит. Две белогловки хватит. Петр Иванович заслужил... Только пойдем переулком. А то кругом народ, люди кругом! Марьяну достанут: «Продай, продай». Масленица, поди... Народу, действительно, туча вывалила! Но на Куяна народ не смотрел. Больше зыркал в десятки глаз на идущего сзади Цыбина, который пока еще плохо чувствовал себя у всех на виду. В народе кому интересно было, как изменился за годы парень, кому знать надо было — не согнуло ли его горе. Одни думали: «Стройный стал, ладный! Первый жених!». Другие: «Не повезло, сирота». Третьи: «Запьет парень...». Четвертые прикидывали: «чево с него взять».

Цыбина самого беспокоила неизвестность. Хотелось ему правильным сделать первый последембельский

шаг. Хотелось стать мудрым, как отец, как Трофим Егорыч Сухмарев. Как Ивановна. Завтра он, наверное, пойдет на фабрику и попросит начальство устроить его на место, где работал когда-то отец. Будет ему хорошо от этого. Ведь отец никогда не занимался пустяками. Все, что делал он, было всегда важным.

Решено, он пойдет на фабрику.

## VI

Марьяной Козыревой, о которой Трофим Егорыч с мужиками говорили, что разбавляет белоголовку водой, оказалась молодайка с огромными голубыми глазами и пухлыми, с красивым вывертом, губами. Обзавестись можно... На плотном и гибком теле ладно сидело малиновое платье, отороченное в рукавах и на воротничке ручным кружевом. Отворив дверь и ответив на приветствие Куяна, она безразлично продолжала нанизывать на белую тесемку накрахмаленную тюль. И не пригласила пройти с порога.

— Вот, пришли, — переминаясь с ноги на ногу, сказал Куян, и вдруг резко отступил в сторону, открывая фигуру Андрея.

Цыбин в смущении закашлялся:

— Кхме, кхме...

Марьяна, как куропатка, встрепенулась, увидев Андрея, и метнулась к двери:

— Ах, а я и не заметила. Что-ж ты, Куян, так?

Вовка улыбался, обрадованный переменной настроенности у Марьяны:

— Давай, давай, — подтолкнул он Цыбина. — Здесь свой народ.

— Собственно... мы случайно к Вам, — и осуждающе на Куяна.

Но Марьяна уже не слушала его слова. Захлопотала на кухне, позвякивая посудой.

— Шикарно ночует, — начал Куян, плюхнув на низкое кресло, стоявшее у полированного столика. — Завидую, чеслово, откровенно! А что? Ты, вот, и сам посуди: живем мы в этой дыре и лапу сосем от тупости своей. Эх! В городе у меня кореш есть — в газете работает. Восемьдесят рублей окладу, а живет, как кот в масле! И гарнитур Марьянкиного получше! А баб вокруг него, как маслят после дождя, секешь? Плюну на все... На фанерку эту драную плюну тоже, и махну. Махну! В город... махну... Может, фартонет... Не то, слышь, окочурюсь... Двадцать пять разменял... Э-эх! Валерка, вон, спился у Рындиных, из Кэпээз не вылазит. А Санька Чекмарь...? Срок уже. Срок получил! Как Марьянин законный... Ну ее, Мелентьевку, к перцу...

Цыбин равнодушно слушал монолог Куяна и крутил шеей в сторону дверного проема, ведущего на кухню. Наконец, из него вышла Марьяна. Цыбин теперь увидел ее лицо вблизи. Оно выражало задумчивость и насмешку одновременно. Понравилось... Даже не так: природнилось... А когда после выпивки и легкой закуски Вовка Куян мертвецки уснул на тахте, и вовсе пленило, и увело в счастье...

## VII

Когда Сердолик Крымов, Марьянин свекор, протрезвел, наконец, после недельного одиночного пьянства, в душе у него незримо зияла большая прореха. То ли жалость к себе першила горло, то ли некогда убитая совесть тормозила сознание, заставляла заскорузлую руку хвататься за грудь...

А природа вывалила с небес мартовскую скудную от-

тепель. Мелентьевка ароматно раздымилась трубами, будоража в степи путников. Приезжало начальство из района. Пообещало на базе фанерной фабрики построить целлюлозный комбинат. Поселковые вздохнули — будет дело, а, значит, и сердцу услада, и совести покой.

Молодежь, вместе с ней Андрей Цыбин, ринулась на стройку. Контора строителей уже разместилась в завалившемся здании поселкового клуба.

Сердолик Крымов, конечно, не знал об этом. Да и не хотел знать: жизнь шла мимо него. После того как облсуд приговорил сына к трем годам за растление молодежи, жизнь окончательно свернула в глухой переулок и не баловала его свежим дыханием. Дескать, Сердолику хватит своего — алкашного. И вправду, в последнее время Сердолик даже не думал более ни о чем, как о глотке белоголовки. С нее, может быть, все и началось когда-то: дебоши в поселке, браконьерство на реке, оргии в доме, продажа краденного пацанами, поводырем которых был сын. А где он сейчас — тю, тю! Отсидел срок, и ни к Марьяне, ни к нему! А где посельчане, где народ, где, человеки, где люди? Тю, тю!

Сердолик отчаянно пнул попавшие под ноги опорожненные бутылки. Вздохнул, снова схватился заскорузлой рукой за грудь, а потом за косяк двери:

— На кой черт, мне домина тухлая! Нет в нем тепла. Пусто! Ни души, ни человека! — проорал он, сам не зная кому.

Походив по половицам в таком смятении уже несколько минут, Сердолик Крымов вышел во двор. И там дохнуло не свежестью жизни, а мамеевой разрухой. Корова куда-то запропастилась: то ли померла, то ли увел кто... Крыльцо косо завалилось к опустевшей собачьей будке. От него осевшие сугробы тянулись до самой калитки...



Кое-как отыскав в чулане совковку, Сердолик яростно стал расчищать подтаявший снег, чтобы вырваться на улицу, по которой сгнула в переулок обманщица жизнь. В работе он выпрямился. В отрывистых движениях рук, в негибком развороте старческой спины все еще угадывалась былая сила, хотя слежавшийся снег поддавался с неохотой. Но когда отточенный нос лопаты разрезал его на квадраты, — рассыпался, как подмоченный сахар.

Солнце теперь было у Сердолика за спиной. Тени на сугробах по этой причине вытянулись, стали резкими и темными. Неожиданно Сердолику Крымову показалось, что один снежный холмик зашевелился, а из него показалось оскаленное лицо сына. В раскосых окаянных глазах прежняя удаль, пятнами расплывшаяся по сугробу...

— Господи... сусе...

Сердолик замер, чувствуя как по телу у него стынет кровь. Что за напасть! В голове ухнуло, загудело что-то, туманя глаза. Воткнутая в сугроб лопата осела и стукнулась черенком о ноги. Лицо сына исчезло, расплылось, угасло...

Придя в себя, Сердолик выругался, швырнул в сторону лопату и шагнул за калитку. Светло все вокруг. Сияет, искрится. Поновела Мелентьевка, что ль? Не узнавать! Сердолик подшибся ладонью и увидел как из-за переулка вывернула к нему Фомичиха — обветшала вдовушка и самая знатная в Мелентьевке сплетница. В молодости-то Фомичиха не раз зарилась на Сердолика, а потом из-за его пьяных дебошев охладела.

— С Масленицей Вас, Сердолик Ануфриевич! Чтойто не видно стало, аль прихворнули?

— Здравствуй, баба! Головою маюсь, мигренью хреновой...

— Голова — место лечимое, Сердолик Ануфриевич. Сердце бы не ныло, сердце. Поди не слышали еще?

— Не слышал...

— Да, уж. И вправду грешно, Сердолик Ануфриевич. Он-то, само собой — невиновный. До этого, что ль, ему, когда по отцу поминки не прошли. А она-то, она-то! Ведь законная же у твоего Тимофея. Зачем же чужого хапать...?

— Да, о ком ты, языкастая?

— О Марьяне все, о Марьяне...

У Сердолитка вновь ухнуло молотком в висках. Невмоготу стало от солнечных брызг. Повернулся — и в дом... А вечером шлепнулся в его голубой почтовый ящик помятый и худой конвертик с наискось прописанным адресом: «Поселок Мелентьевка — Сердолику Крымову»...

## VIII

Слухи по Мелентьевке расплозились, как поганая болезнь, не обходя мимо ни один двор. Наоборот, задерживались в каждом, получая дополнительную пищу для своего губительного действия. О связях Андрея Цыбина с бойкой торговкой Марьяной судили уже все, кому не лень. Мелентьевка, собственно говоря, и не ленилась, она завсегда жила подобными слухами. Они ей как допинг, поддерживающий смысл бытия... Но бытие, откровенно говоря, скоротечным было: пьянки, драки, пожары. А еще худые первомайские колонны, бураны в ноябрьские праздники, дикая тоска в новогодние ночи, особенно у стариков: кругом народ, а людей мало, чему радоваться?

В Новый год отобьет репродуктор бой курантов на Спасской башне Кремля — молодым радость, а стари-

кам грусть. Еще один год гирей лег на их сгорбленные спины... А человека, который мог успокоить накануне Рождества, нет. И Рождество Христово не дают отмечать. Атеизм кругом, куда ни глядь, куда ни приди...

Если Сухмаревы — Трофим Егорыч и Ивановна, — изредка поругиваясь, кое-как, все же, справлялись с наносами лет, как с зимними сугробами во дворе, то Рындины, Чекмаревы и многие другие престарелые мелентьевцы с каждым годом все больше и больше угасали в запустении своего быта, брошенные или преданные детьми и внуками. Но Рындины и Чекмаревы, имея непутевых сыновей, худо бедно все же вместе дохромали по старческим тропам к оврагу, за которым небытие. А вот Крымов Сердолик шел к нему в диком одиночестве, бобылем, как и почивший на днях Петр Иванович Цыбин.

Но больше всего сейчас царапало Сердолика Крымова вот какое обстоятельство: у Цыбина сын, вон, на неделе героем в сержантских погонах, потом и в шикарном демисезонном пальто на людях прошагал по Мелентьевке, а его Тимофей — в колонии. Письма паршивого не напишет. То ли еще сидит, то ли вышел из тюрьмы, где-нибудь шляется с окрестными ворюгами, как когда-то в молодости и сам Крымов.

Отсутствие вестей от сына и о сыне столь сильно вгоняло в тоску, что Сердолик Крымов пропивал почти всю пенсию. И погубил корову, которой еще кормился, сбывая молоко Ивановне, — она по его просьбе раз в день еще недавно доила Буренку. А еще Сердолик выклянчивал деньги у Марьянки Козыревой: Тимофей за месяц до тюрьмы привел ее в дом. А куда ей, Марьянке, столько! Она как мужиков дурит, разбавляя белоголовку водичкой. Пятьдесят грамм шприцем нацедит — до полтинника барыш...

Жгло у Сердолика в груди под полотняным в дыр-

ках пиджаке, стучало кувалдой в седых висках. А нонче и вовсе привиделось в сугробе черт знает... не поймаешь... Сердолик трясущими руками отлепил накладку у конверта и вытащил клочок тетрадной странички в клетку: «Эй, алкаш! Привет из Горлянки. Укокошили Тимофея, житья не стало. Твой бандюган достал народ... Слыхали, теперь Андрейка Цыбин к Марьянке захаживает. Марьянка нашенская, из Горлянки... Люди уважают. Папашу Андрейки, земля ему пухом, тоже уважаем. Не обижай Марьянку. Правильный выбор баба делает, не мешай». И подпись: «Мужики».

Только сейчас до Сердолика Крымова дошли слова Фомичихи, ехидны и главной сплетницы поселковской: «А она-то, она-то! Ведь законная же у твоего Тимофея. Зачем же чужое хапать...?».

Связав в угасающем сознании слова Фомичихи и письмо, нацарапанное мужиками Горлянки, Сердолик Крымов отыскал в сених проржавелый топор и поплелся к дому Цыбиных. На улице ни души, ни человека. А в висках что-то гудело, вздувая артерии. Торкнулся в дверь — закрыто. Треснул топором по дверному полотну, дверь не поддалась. Щепа посыпалась и все. Тогда Крымов перешел к крыльцу Сухмаревых, за дверью которых слышны были голоса...

\* \* \*

...Только вечером народ узнал о случившемся. Володька Куян, несший Андрею Цыбину от Марьянки бутылку белоголовки, вдруг увидел на крыльце распластанного и окровавленного Сердолика. Хотел приподнять — поздно! А в глубине горницы в скрюченных и вывернутых позах лежали Трофим Егорыч, Ивановна и сержант запаса Цыбин Андрей...

## ГРАМОТА ИСПОЛКОМА

(эюд)

**Б**ыл вечер. Вера Васильевна Королева пригласила знакомых порадоваться за Сашеньку — своего мужа, которому в честь пятидесятилетия вручили грамоту исполкома. В квартире дымилось. Табачные тучи обволокли люстру, кремовые шторы, гофрированные стекла румынской стенки, назойливо лезли под штапельные переплеты подписных изданий.

Гости ели, пили, разговаривали много и жадновато. Лицо Веры Васильевны «дышало» счастьем, покрывалось испаринкой. Вера Васильевна иногда вскрикивала:

— Ну, еще граммуличку, ну, еще чуть-чуть... Ну, миленькие...

Раздавались хлопки, вскрики. Начатая кем-то песня обрывалась. Минуты две над столиками — их Вера Васильевна, следуя моде, установила вразброс — резко перестукивало серебро. Потом вновь все взрывалось. Песня набирала обороты, бар ореховой стенки пустел, комнаты заполняли резкие запахи подкисших шпротов, салатов, «шуб», винегретов, тертого чеснока с сыром, иваси под тонким таджикским лимонном.

Когда выпивка закончилась, Вера Васильевна шепнула что-то Сашенькиному шоферу, ему же в ухо проворковал какую-то просьбу Немат Ачилович — директор совхоза. Сашенькин шофер вскоре вернулся в квартиру с ящиком «Пшеничной» и ящиком «Проздроя». Вера Васильевна чмокнула его в щеку, благодарно улыбнулась Немату Ачиловичу, спорхнула назад, в залу, и подсела к гостям.

Разные разговоры вели за столиками гости: Женька Федоров — Сашенькин зам, Убайт Каримджанович — как будто писатель, Исмаил Раджабович — референт, Наталья Нестеровна — соседка, Элиза из книготорга и прочие.

Убайт Каримджанович пил маленькими глотками, реплики бросал тихо и вовремя. Откуда он — толком никто не знал, но сразу завистливо посмотрели, когда он вспомнил как пригласил в Москве на танцы саму Пугачеву. Алла, якобы, шептала ему о гадких мальчишках, кидающих на ветер слова.

Потом Убайт Каримджанович как бы невзначай промолвил, что устроил однажды Пугачевой гастроль и похлопотал о награде, дескать, сама попросила. Тут же вспомнили о Леонтьеве. Был он любовником Пугачевой или не был? Все вместе решили, что не был. Убайт Каримджанович, кивнув головой, подтвердил: «Не был...».

Потом Наталья Нестеровна что-то сказала про новый роман Айтматова. Наталью Нестеровну поддержали. Вспомнили «Мать-олениху». Это, де, нам известно. Аль, не интеллигенты мы? Наталья Нестеровна ляпнула вдруг, точнее спросила:

— Хороши ли писатели в постели? Почему о любви боятся говорить в слух? Почему секс — это стыдно... Социализм не подавляет взаимоотношение полов...

Вера Васильевна молодо вскинулась:

— Я покажу! Мы сейчас посмотрим... и пошла было к румынской стенке, чтобы включить видео-магнитофон...

Но Сашенька резко усадил ее за столик.

— Все для тебя, Сашенька, все для тебя, — обиженно пролепетала Вера Васильевна. А про себя подумала: «Знал бы ты, дурачок, как тебе досталась грамота исполкома...».

Запели «Рябинушку», потом «Ой, мороз-мороз...», «Как родная меня мать провожала...», «Забота у нас простая...». Хорошо пели, красиво. Обвораживал голос Убайта Каримджановича. Пел, выделяя каждое слово. Не как Вера Васильевна и Сашенька — небрежно, с проглотом окончания слов. Убайт Каримджанович, разговаривая, тоже четко произносил слова. В Москве, как он выразился, у него «все под колпаком...». Такова, дескать, сила его слов.

Твердый и четкий голос Убайта Каримджановича долетал даже до самой улицы. Близ дома Веры Васильевны воздух казался праздничным, хрустальным, счастливым. Город был молодым. Гости Веры Васильевны были тоже почти молодыми. Своими руками построили на краю пустыни эти дома, выросли, солидности достигли, положения. В городе им нравилось: фонтаны, зелень, дворец... И заводы в пустыне. Они дымят, а Сашенькины самосвалы грохочут по стройкам.

Сказка сама — город, который они построили! А, может быть, не они, но им кажется, что они? И теперь едут, едут сюда строить социализм разные люди, но уже пожиже — мелочь какая-то... Там, откуда приехали, холод и грязь. А у них, на краю пустыни, московское обеспечение, арбузы и абрикосы... К Вере Васильевне слетаются к лету родственницы поднакупить барахлишка, схватить дюжину кофточек... По-

том назад. В свои тамбовы, ярославли, рыбински, красноярски...

Новинск — так называется их социалистический город. Даже министр приезжает сюда отводить душу, пострелять сайгаков, полетать над Актау, крича: «Наше... Мое! Спасибо, ребятки!».

Сашенька, покинув самосвалы, повторял иногда эти слова и сразу в глазах Веры Васильевны становился сильнее, глыбастей, как сам министр, которого, правда, она никогда не видела. Сашенька не брал ее во «Флориду», кафешку местную, где министр всегда прощался с ребятами. Сашенька говорил, что там, как во французских гарнизонах, женщин не бывает.

Все равно Вера Васильевна рада за Сашеньку. Сегодня грамота, завтра... Замечают, ведь, Сашеньку все чаще и чаще... Даже секретарь горкома позванивает! Сегодня Вера Васильевна пригласить его не посмела, но, кто знает, может, вскоре и он разделит с ними застолье... Ах, Убайт Каримджанович все может, все может... Немат Ачилович уже переговорил с ним... Надо только полюбезней, полюбезней, твердила сама себе Вера Васильевна. Голубчик, Убайт Каримджанович, он все поймет... Но ничего более! Ни-ни...

Убайт Каримджанович допевал «Песню о тревожной молодости» Льва Ошанина:

Забота у нас простая,  
Забота наша такая:  
Жила бы страна родная,  
И не-е-ту других за-а- бот..!

То консонансом, то диссонансом звучал его голос и все невольно зачарованно смолкали. Вера Васильевна как бы ненароком прислонилась к Убайту Каримджановичу плечом и посмотрела на Сашеньку: «Ах, загуляю...».



— Милочка, — прошептала ей Наталья Нестеровна, — Каков Убайдик, подлюга, а? Он с Пугачевой танцевал! Писатель... Ха-ха! А я бы отдалась любому писателю. Этот милый киргиз Айтматов... Я бы не думала... Нашим идиотикам — сварка, бетон, сводки... А жизнь-то, жизнь-то! Лотрек Тулузский... Или... как его — Тулуз-Лотрек!? Гоген... Подсолнухи... Ухо...

И совсем уже пьяно:

— Веруха, все они скоты! Скоты они все! Слушай, Верка, я напилась. Пойдем найдем мужиков... Мой — барматушник... Верка, ты... ты... — Наталья Несторовна стала строить из себя собачонку, гавкнула, тявкнула и принялась вылакивать из фужера шампанское: — Во! Прелесть, амрита...

Вера Васильевна отвела ее домой. У Натальи Нестеровны они вместе поплакали, но, вернувшись, Вера Васильевна встряхнулась и снова засветилась голубизной. В сорок три года она все еще была восхитительна. Только тонкие лучики от уголков глаз говорили, смотрящему на нее, о чем-то ей неприятном.

Гости еще ужинали и пили на брудершафт. Сашенька ходил между столиками и подливал, подливал водочки и проздоря: «За грамоту, за награду...». Сам тоже замахивал рюмку за рюмкой. Немат Ачилович слегка похрапывал на диване. Исмаил Раджабович ухаживал за Элизой из книготорга. Женька Федоров пристально рассматривал грамоту исполкома: «Ну, надо же!»

Только Убайт Каримджанович стоял в одиночестве возле румынской стенки. Словно кого-то ждал... Вера Васильевна подошла к нему и, слегка смущаясь, тихо промолвила:

— Можно Вас на минуточку...

1974 г

## ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ

(новелла)

«Дерево молодое прекрасные видело годы.  
Но засохшее дерево рубят всегда садоводы...»  
Низами

**Д**авно скатилось за горизонт солнце, а по узким улочкам маленького городка все еще перекачиваются тугие волны дневного жара. Духота... Одолеть ее помогает лишь хрупкая пиала с прохладным кумысом или глоток зеленого чая.

На длинной супе, застеленной домотканым ковром, сидят аксакалы и слушают кюй — национальную мелодию и протяжную песню. Она доносится из степи и теплотой своей растапливает сердца стариков, делая такими же чувствительными, как и в далекой юности.

Кто поет? Неважно. Главное — певец любит народную песню и выводит ее с виртуозностью смычка. А он, смычок, кажется, рассказывает о чьей-то нелегкой судьбе.

Ближе, ближе протяжная песня... Вот она добирается до старых чинар, до городской площади, эхом кружит над раскрытыми окнами, набирая высоту, взлетает к звездам.

С печником — дядей Ахмедом, маленьким кривоногим человеком с живыми глазками под редкими воспаленными ресницами, — мы сидели в чайхане и наслаждались

прохладой. Входили и выходили люди, почтительно здоровались с дядей Ахмедом, приглашая его кто на той, кто на бешбармак, а кто просто поговорить.

— Ждем тебя, почтеннейший, приходи...

— Ладно, — кивал в ответ дядя Ахмед и самодовольно скашивал глаза в мою сторону: видал, мол.

Чайханчик — молодой казах с блестящими, как угольки антрацита, глазами, — проворно сновал под навесом.

— Этому джайрану не терпится выпроводить нас восвояси, — раздраженно кивает в его сторону дядя Ахмед. — Дергается, на свидание, поди, надо.

Молчу, очарованный красотой.

— Вот ты стишки пишешь, — не унимается дядя Ахмед, — а почему не напишешь о стариках? Больно уж интересно почитать...

Невидимый певец все тянет и тянет свою тяжелую мелодию.

— Молодым все понятно. Раз, два, пять... Нам нет, почему?

Из-за старого минарета осторожно выплыла безмерно вздутая луна. Кто-то безликий протянул высоко в небе зажженный фонарь и плавно понес его над городком, высвечивая холодным светом гребни старых дувалов, плоские крыши заснувших домов, верхушки деревьев и скромную вывеску «Аптека».

— Что, напишешь? — Повторил, прощаясь, свою просьбу дядя Ахмед. — Попробуй, а?

В ту встречу я не догадался, откуда у дяди Ахмеда интерес к судьбе стариков, но после одного случая многое стало ясно.

Мы с ним часто встречались в чайхане и он занимал меня рассказами о том о сем. То вспомнит, как в детстве жеребец наступил ему на ногу, а в отместку

он отхватил ножом ему хвост, опозорив тем самым хозяина. То расскажет, как женился и как в один и тот же день и час родила жена, отелилась корова, а он бегал из дома в сарай и не соображал: чему ему больше радоваться?

Рассказывал дядя Ахмед вдохновенно, подперчивая фразы анекдотами и шутками.

Однажды, излив очередной свой запас житейской мудрости, он надолго замолчал, перекатывая языком щепотку табака-насвая. Потом задумчиво спросил:

— А ты в Большом городе всех врачей знаешь?

— Я ответил, что многих, но, пожалуй, не всех.

— Про Гульчару Мамедову слышал?

— Что-то не припомню.

— Моя дочь! — гордо объяснил дядя Ахмед. — Она гели-колог. Ежели занедужишь, прямо к ней. Раз, два и будь здоров!

— Спасибо, дядя Ахмед, — ответил я ему, — но по этой части никогда не заболею. А при случае найду дочь вашу.

— Вот... вот... при случае, оживился печник. — Гульчара будет рада! Я, вот, и сам, наверное, уеду к ней. А что? Надоело дымоходы лепить. Буду в пижаме.... кофья попивать.

Навязчивой этой идеей дядя Ахмед заболел основательно.

— Уеду, — говорил при встрече шорнику Мустафе. — Дочка зовет...

— Эй, Исмаилджан, — кричал он соседскому мальчику-бутузу через свой дувал. — Что тебе из большого города прислать? Уеду, ведь, я!

Наши встречи проходили все реже и реже. Дядя Ахмед бегал по райсобесу, хлопотал давно уже положенную пенсию, искал покупателей для своей неказис-

той халупы, гонялся за должниками, коих у него было великое множество.

И вот однажды он совсем исчез. Сел на попутку и ни с кем не попрощался.

Вначале маленький городок не заметил этой утраты, а через день заскучал по старому балагуру. На базарной площади в чайхане и даже в аптеке, куда жители городка ходили столь же часто, как и в свою районную баню, только и слышалось:

— Печник Ахмед уехал... к дочке... в Большой город!

— Это к какой... была ли у бобыля дочь-то?

— Не была ли, а есть! Доктор она. Как уехала в институт, так и не возвращалась. Замуж за инспектора вышла...

— Говорят, писем — и тех не писала отцу... А он без покойной Фатымы пятнадцать лет ее пестовал...

— Говорят... Мало ли что люди напридумывают... От зависти все...

— Бывает такое... Люди — они, известно...

Как вспыхнули эти разговоры, так и утихли. Не прошло и недели — маленький городок стал забывать про печника. Разве только иногда хозяйки, пекущие пироги, вспоминали его добрыми словами, да карапуз Исмаилка ждал все еще подарков из Большого города.

На седьмой день, выглянув из-за забора-дувала, он первый обнаружил дядю Ахмеда, расколачивавшего забитую дверь.

— Здравствуй, Исмаилджан! Обманул тебя старый шакал... Но ничего, брат. В Большом городе, известно, игрушки толковой не найти. Там за гарлинтурами погоня... Нашего духа не терпят... Я тебе таких свистулек наделаю, по-о-мрешь...

— Ты что, дядя Ахмед, насовсем к нам? А мамка сказала: тебя пенсионером назначили?

— Насовсем, Исмаилджан. Мне, брат, пижи-ам не надо! И кофья ихнего я в гробу видел. Так-то... Тьфу...

Маленький городок вначале даже не заметил, что появился печник, будто он и не уезжал. Потом кто-то из аксакалов вдруг обнаружил его в чайхане возле себя... Тут-то загомонили, за spletничали в сотню голосов.

Кто-то сообщил, что дядя Ахмед реже стал ходить в дом к шорнику Мустафе, хотя у него родился сын и он каждого потчевал молодым барашком. Кто-то ранним утром увидел, как печник молча завалил густозеленую чинару в своем полисаднике, ту, к которой он год за годом после рождения дочери приносил ведерочком водичку.

Я несколько раз пытался заговорить с дядей Ахмедом, но из этого ничего не выходило. Часто пустовало и его место в чайхане, над которой каждый вечер золоченым бубном повисает круглоликая луна и высоко взлетает знакомая степная песня. Слушал я ее теперь один, догадываясь, кажется, о том, каким полноводьем тоски переполнена ее душещипательная мелодия...

1975 г.

## ПОСЛЕДНИЙ МОТИВ

(набросок)

О, Нурбанат, Нурбанат! Как длинен и утомителен твой день, полный женских забот! Как коротка и мимолетна твоя ночь! Как горьки твои скупые материнские слезы...

О, сильная женщина! Когда льются твои печальные песни, — сердце слушателя подобно одинокому цветку в пустыне вдруг затрепещет под порывами надрывных мелодий и ему становится больно в груди...

...Вот наступило утро. Словно парным туманом обдает наш аул твоя песня, о, Нурбанат, Нурбанат! Зарозовели на востоке гранитные лбы-шиханы. Тополя и березы на склонах вдруг встрепенулись, как разбуженные и озябшие странники посреди степи.

О, Нурбанат, Нурбанат! Вон как они все пригнулись в поклоне тебе... Бегут впереди тебя по пыльной дороге, обдавая благодарным шелестом листьев. Любят они тебя, любят...

Их обгоняют кусты, а влажный от росы можжевельник, вцепившись в гофрированную грудь черной скалы, кланяется тебе, как только что кланялся утренней Зорьке...

О, Нурбанат, Нурбанат! Ты идешь мимо и тихо-тихо ведешь мелодию жизни. Не

последнюю ли? Почему можжевеловый в тревоге тянет к тебе свои ветки и пытается удержать за подол? Он просит тебя не идти к речке. Он просит перенести его на ту сторону дороги, где вздрагивает в каком-то предчувствии, потревоженная песней, зауральская степь: «О, Нурбанат, Нурбанат!».

Не ходи ты в степь этим утром, о, Нурбанат, Нурбанат! Зачем ты идешь к воде? Зачем ты устала и почти не поешь?

...Но, поникшая и босая, ты все ближе и ближе к берегам нашей речки, омывающей базальтовые лбы шихана.

О, Нурбанат, Нурбанат! Видишь, как сладко еще спит наш аул! Вернись и поспи! Не ходи, не ходи же к речке... О, Нурбанат, Нурбанат...!

1970 г.



## ПИЧЧИРИЛЛО

(эпизод за Полярным кругом)

**О**н был замухрышкой: некрасивым долганом, ростом с карликовую березку и с головой, похожей на маленький цветущий одуванчик. Давно кто-то придумал ему это странное имя, совершенно не соответствующее его роду-племени. Может быть, случайно попавший за Полярный круг студент-практикант, или заядлый книголюб, начитавшийся романов про знойную Италию. Пиччирилло и Пиччирилло — мальш, значить, замухрышка по-русски. Крепко же это словечко привязалось к нему!

На Рассохе, заполярной буровой, что севернее плато Путарана, многие и не знали настоящего имени долгана. Да, что уж тут, какой-ты Ямкине: называют люди тебя по-своему — терпи. А он и терпел, вовсе не обижался. Он просто привык ко второму имени, как привыкают к своей кровати в балке, к своей ложке на котлопункте... как здесь, на Рассохе, привыкают к тундре, к плаксивому небу, к въедливой мошкаре, к пустым прилавкам робкоповского магазинчика в Дудинке, куда попадают после вахты, и к сушеной картошке.

Он, этот маленький долган, виновато

улыбался — и все. Он вообще, кажется, никогда ни на кого не обижался: так его учил отец-оленеvod. Не обижался даже тогда, когда буровики нещадно эксплуатировали его. Ленъ самим сделать, кричат:

— Пиччирилло, сходи на вышку, принеси газовый ключ!

— Эй, Пиччирилло, тащи мне сюда мою робу! Вон она, за твоим гэсээмом висит, обсыхает. Шибко, Пиччирилло, шибко... — И он беспрекословно шел за ключом или за робой в ревущую снежную мглу. Попросят у него рукавицы, отдаст их, не задумываясь над тем, что через час самому надо идти на дежурство, в сорокаградусный мороз хлопотать по своему хозяйству.

Говорят, в геологоразведку его вначале не брали. Кому нужен такой клопик! Морда, казалось иным, — отвернуться хочется. А уши? Как надорванные беляши — розовые, плоские, большие...

Условия на Рассохе были особенными даже для такого сурового края как батышка Таймыр. С Карского побережья постоянно тянуло дыханием льдов. Ртутная пулька в термометре так пугливо съеживалась, что не смела хоть на миллиметр сунуться вверх по стеклянному столбику.

По радиации дважды сообщали вероятность «черной пурги», но она на этот раз минула Рассоху, и, слава Богу! Из предыдущей вахты троих буровиков и одного геолога замело. Хотели они подбить белого медведя, пошли за ним, а тот увел их в торосистые льды, где их и застала пурга. Так и замерзли в ледяной каше, ели отыскивали, песцами покусанные трупы. Специально прилетевшим вертолетом отправили в Норильск. По реке сплавить не было никакой возможности. Сбежавшая от одноименного озера и скованная льдами речка Пяси́на, давно остановила свое течение. После-

дною баржу с соляркой и с каротажной станцией катерок, бывший «морской разведчик», дотянул до Россохи еще в начале сентября. Потом пошла шуга, потом «суп с котом», как любил выражаться помбур Сережка Кньш.

Хотели чтобы почивших мужиков сопровождал Пиччирилло — все равно ему нечего делать, кроме солярки на вышку подкачивать, или в бак вездехода. Но Пиччирилло категорически отказался, повергнув всех в шок. Вспомнили, что особенно тогда возмущался Кньш, который больше всех эксплуатировал Пиччирилло:

— Шо-то, взбесился, урод! По мордам захотел? Да она... противна морда твоя, долганская... Тьфу, плюну и разотру. — пытался припугнуть он Пиччирилло.

— Я тебе разотру, — пророкотал тогда каротажник Федор Ничипоренко, вываливая из кармана свой кулачище — кувалды крупнее. Кньш и замолчал, мышью шмыгнув из командного балка.

Ничипоренко много раз летал на Россоху, когда отряд дудинских геофизиков, куда он был приписан, вызывали для каротажа пробуренных пластов. Поэтому и с Пиччирилло был хорошо знаком. И покровительствовал ему постоянно. И симпатизировал его честной душе. А почему Пиччирилло отказался лететь на вертолете с погибшими вахтавиками тоже, кажется, догадался. Причиной тому один случай, о котором подробно ему рассказал сам Пиччирилло.

...Добурились как-то ранней осенью буровики и геологи до восьмисотого горизонта, вытащили керн какой-то особенный, сразу пахнуло из скважины серой и, как будто, нефтью, а, может, и газом. Тянет как из вонючей бочки, хоть нос затыкай. Вечером по рации ошарашили экспедиционное начальство, срочно зат-

ребовали каротажников, чтобы просканировать горизонт, и, чем черт не шутит, прострелить гексогеновыми шашками, чтобы освободить от обсадки перспективный пласт.

Каротажники уже через два дня прилетели на вертолете. А станцию завезли по реке еще осенью. Решили вначале провести разведку электрической проводимости пробуренных пород и кажущихся сопротивлений. Как? А за счет разницы потенциалов по стволу скважины между двумя электродами. Потом, как положено, надо было провести другие методы. Потом, как любил поговаривать Кныш, и «суп с котом». Но на этот раз произнес это кто-то другой, поскольку Кныш неделю назад отпросился на базу. Правда, как всегда, как у Кныша, «суп с котом» оказался несколько горьковатым. Не своевременным...

Заартачился главный геолог. Он вдруг заявил, что обычные методы ничего не дадут! Надо сделать, дескать, нейтронный гамма-гамма каротаж со стационарным источником нейтронов. А где он? На складе в тундре... За сотню верст... Кто полетит?

Срочно вызвали вертолет из Норильска, впахнули в него Пиччирилло, сказали пилотам куда лететь и попросили напоминать малорослому пассажиру, что он должен забрать семидесятикилограммовый свинцовый контейнер.

Пиччирилло, как всегда, не стал противиться, уважал всякого, кто громко говорит. И полетел. В тундре на складе ему выдали под расписку источник и погрузили в вертолет. Полетели дальше.

Через десять минут из пилотской кабинки спустился к нему штурман и стал уговаривать сесть на базе экспедиции в Большой Хете. На полчаса. Пиччирилло согласно кивнул головой.

Приземлились. Штурман с пилотом сбегали с поллитровками вина к Николаю Ямкине, дальнему родственнику Пиччирилло, а он сам — в контору экспедиции, полакомиться запасенными когда-то вафлями. Больно уж любил он это экзотическое для тундр лакомство, закупал в Дудинке на ползарплаты...

Уже через полчаса пилоты с отороченными песцом унтами, выменянными у Николая Ямкине за бутылку портвейна, притопали к вертолетной площадке. Через минуту подошел Пиччирилло с пачками вафлей, — а в вертолет успело набиться полтора десятка вахтавиков. Одна экспедиция, один расчет с авиаторами. Равные среди равных — буровики, геологи, подсобные работники.

Пиччирилло едва отыскал местечко в хвосте, рядом со свинцовым контейнером, где спряталась капсула с радиоактивным источником. Заходили винты. Вертолет затрясся, будто в лихорадке земной, но взлетать, почему-то, не захотел. Из кабины высунулся штурман и, глядя сверху вниз, пересчитал пассажиров:

— Братаны, что-то вас многовато. Трое прыгнули вниз... Ну! А то не взлетим!

А кому охота? Никому не охота! Одни пропились до нитки и жаждут на вахте новую денежку заработать. Другим надоели пресловутые свадьбы «на неделю» и попрошайничество временных возлюбленных. Третьим надо было за внеочередную вахту еще подкопить капиталец, чтобы отправить детям на Большую землю.

Все-таки двое выпрыгнули, о чем-то неотложном, видимо, вспомнив. Третьего добровольца не было. Штурман опять выглянул из кабины:

— Третий, почему третьего нет, мать вашу... Оглохли, что ли?

— Кньш, тебе убираться! — пробасил густо кто-то, сидящий в самом начале скамеечки.

Пиччирилло притих, втянув коленки к своей несуразной голове. Не дай Бог, Кньш увидит его.

— За какую хреновину эт-то? — нехотя отреагировал на бас Кньш.

— За Нюркой присмотришь. Она седня, коль тебя нету, к Мишке Жукову в постельку сбежит.

— Нюрка не сбежит! А вот тебе, Харитон, если прилетишь на Рассоху, Жабанов нюхало почистит.

— За что?

— За сестренку его, приставал к ней — забыл?

— Не королева...

Вертолет трясется, как буровик с похмельюги. Очень уж ему хочется подпрыгнуть сейчас с деревянного помоста, задрав на прощание хвост. Кособочясь, взлететь в небо и скрыться с глаз долой, как комарик. Но тяжеловато еще. Не подпрыгнуть...

И только сейчас Кньш заметил в конце хвоста сжавшегося Пиччирилло.

— Ты, замухрышка, откендливо? Чо сидишь? Вон из стрекозы нашей!

Пиччирилло обхватил руками свинцовый контейнер с нейтронным источником, будто кокон с новорожденным ребенком, и еще сильнее втянул голову в плечи.

— Слышь, заморыш, убирайся отсендливо... Ах, не хочешь? Я тебе... — Сережка Кньш в две руки схватил Пиччирилло и выбросил его в открытую дверцу вертолета. — Поехали в небо, пилоты, мать вашу...

Пиччирило шлепнулся об настил вертолетной площадки, но остался целым: успел перед вылетом в тундру за радиоактивным источником напялить на тело сакую из оленьей шкуры, а на ноги — меховые унты.

Полярное обмундирование племени долган спасло от ушибов.

Вертолет на этот раз задрожал как-то по-особенному, радостно, что ли... Раскрутил винты до самого свиста, а потом вздернул вверх, как балерина руки, так что Пиччирилло мог уже приподняться на ноги без опаски, что ему оторвет башку взбесившимися от радости винтами.

Спрыгнув с площадки в тундру, он обогнул вертолет и встал напротив кабины. Потом с трудом задрал свою несуразную голову и закричал, размахивая руками:

— Нащальник, я здесь, капсула — тама. Нащальник, остановись, нащальник!

Пилот вдруг и в самом деле заметил знакомую фигурку заведующего базой ГСМ. Что за черт?! Почему он на земле? Вертолет несколько раз фыркнул и опустил обиженно винты ближе к земле:

— По-че-му не се-е-ли?

— Упал... упала... стукнулся...

Винты вертолета совсем осели. Отворилась дверца. Нехотя выпрыгнул Кньш, молча протянул кулак в сторону Пиччирилло:

— Порхай, птенчик... Еще посчитаемся...

Штурман за руку втянул в машину тщедушное тело Пиччирилло, и дверца снова захлопнулась. А потом и винты радостно вскинулись к небу, и вертолет затрясся в скором ожидании высоты.

— Чой-то не пойму, — пророкотал бас с передней части скамьи. — Што ли окружного начальства сынок? Привилегии таким завсегда... А, хрен с ним, с Кньшом, Ньюрку покараулит... Так, начальства сынок, што ли? — едва заглушая рокот двигателя, снова прокричал бас.

— Кантейнир... Галавный геолог... капсула нада, источник нада, — медленно подбирая слова, стал оправдываться Пиччирилло.

— Эт-та какая капсула, какой источник? Радиоактивный, что ли? Эт-та от которого потом не стоит?

— Не знай, начальник... Галавный геолог, — начал было объяснять Пиччирилло, но его уже никто не слушал. Рывком открыв дверцу, под свист винтов, вахтовики один за другим выпрыгнули на вертолетную площадку и побежали в сторону экспедиционного поселка.

Никто из поселка больше не сел в вертолет, как не уговаривали пилоты. Почти порожний рейс придется сделать, себе и летному отряду в убыток. Не по-советски как-то, не по полярным законам солидарности получилось... Да и бояться груза, который сопровождал Пиччирилло, вовсе не стоило. В свинцовом контейнере капсула-то была, в каком и надо... Эх-х...

...Вот после того случая, о котором поведал Федору Ничипоренко сам Пиччирилло, и не стал маленький долган больше на вертолетах летать. Ведь как зазнавшийся шаман летел он тогда один через тундру к Карскому морю. От стыда весь полет у него краснели уши. У них в племени так не поступили бы, никого, кому нужно с ними, не оставили бы, собираясь в путь. А он поступил. Он что-то не то сказал людям, они и отвернулись от него. Не захотели с ним никуда лететь...

И разве достоин он сейчас садиться в вертолет и сопровождать до Норильска замерзших в «черную пургу» троих вахтавиков — двух буровиков и одного геолога? По законам тундры он этого не достоин. Тем и объяснил Ничипоренко главному геологу буровой странное поведение своего подопечного, отказавшегося на этот раз сесть в вертолет.



И вообще: Ничипоренко, как мог, старался оградить Пиччирилло от унижений со стороны других вахтавиков, от эксплуатации своего доверчивого друга. Если Ничипоренко увидит, что кто-то умыкнет в котлопункте котлету из алюминиевой чашки Пиччирилло, грохнет своим кулачищем по столу, — даже доски трещат. Если узнает, что кто-то злоупотребляет добротой тщедушного долгана, разгневается. Особый разговор у него с тем человеком будет, с глаза на глаз, а потом и в... глаз...

Искренне и хорошо дружили хохол Федор Ничипоренко и долган Ямкине. Трудно было понять, кто больше у кого набирался житейской мудрости: то ли долган, то ли хохол. Однажды они даже поклялись друг другу, что будут дружить до конца жизни. Но... Жизнь у Пиччирилло оборвалась в его неполных девятнадцать лет...

Это случилось долгой полярной ночью, когда писцы, изголодавшись за зиму, запросто стали приходить на буровую и шныряли у котлопункта в поисках пищевых отходов, когда снова завывали вокруг метели, а на излучине Пясины заблудился отряд сейсморазведчиков, спасти которых выехал вездеход, направленный стараниями Пиччирилло.

Морозы опять подходили к пятидесяти градусам, а ртутная пулька в термометре, как и в начале зимы, снова стала пугливо съеживаться, и снова не смела хоть на миллиметр сунуться вверх по стеклянному столбику. Даже в балках, в которые сунулись все вахтавики, стужа пробирала до костей. Потухнет буржуйка, — и новые трупы запишет в свою коварную историю Рассоха.

Пиччирилло был на своем импровизированном складе ГСМ, когда к нему с ведерком прибежал продрогший Кньш:

— Эй, замухрышка, подлей соляры! Дуба даем...

Пиччирилло взял у Сережки Кньша ведро, засобирался было к своим бочкам и цистернам. Кньш дернул его за полу уютной сакуи:

— Сам схожу... Покажи, с какой бочары отлить...

Пиччирило никого не пускал в пространство горюче-смазочных материалов, но перед Кньшем чувствовал вину за тот давнишний случай с вертолетом и с радиоактивным источником. А вина была, на самом деле, ложная. Пиччирилло не знал, хотя Федор Ничипоренко и пытался втолковать ему это.

— Вона, тама почка, открывал уже. — И показал Кньшу на видневшийся сквозь пургу силуэт выкрашенной в коричневый цвет бочки с солярой. Она стояла рядом с упакованными в деревянные ящики дизелями для новой буровой. Больно уж беспокоился о них главный геолог и каждый раз спрашивал Пиччирилло, сохранны ли ящики, не придавило ли чем.

Кньш заскрипел по снегу своими унтами и скрылся в ночном морозе. Кто же знал, что он закурит на ходу, а горючее станет отливать не из бочки с солярой, а из бочки с бензином. Кто же знал, эх!

Вспыхнули гэсээмовские бочки, как фейерверки в новогодней ночи. Ошарашенные явлением, вахтавики выскочили из балков и ринулись к зареву. Снежные вихри в сполохах огня иногда вырывали из морозной замяти тщедушную фигурку Пиччирилло. Видно было, что он пытался тушить пламя кожаной накидкой-плащом, которую ненцы, нганасане и долгане звали сакуей. Слышно было, что сбивая пламя и не подпуская его к ящикам с новыми дизелями, он кричал какие-то слова на долганском языке.

Вахтавики, задыхаясь от напряжения и ужаса, бежали по тундре к Пиччирилло, кричали, чтобы он убе-

гал, и тяжелое предчувствие сковывало их сознание. Навстречу неся подлюга Кныш. Его никто не остановил, чтобы расспросить о фейерверке, только Ничипоренко плюнул в лицо и на бегу погрозил своим кулачищем.

Всем было и так все видно. Даже сквозь метель, даже сквозь замять. Видно было тундру, укрытую ледяным саваном. Горизонт, как всегда за Полярным кругом близкий к тебе втрое, чем на Большой земле. Видны были страшные очертания пылающих бочек и маленького человечика, яростно вскидывающего руки, будто отмахивающегося от комаров.

Впереди еще метров триста! Но бегущие уже поняли, что не успеют до своего Пиччирилло. Понял это и Федор Ничипоренко, который, несмотря на громаду своего тела, бежал впереди всех.

Федор остановился, вздыхая сразу полкубометра морозного воздуха, отчаянно поднял руку, а злой рок как будто и ждал этого сигнала. Тундра по его команде еще раз вспыхнула фейерверком, а потом громыхнула взрывом, унеся тщедушное тело Пиччирилло прямо туда, к звездам, к небесам, которым всегда поклонялись долгане племени Ямкине...

Такой вот случай из жизни был за Полярным кругом, когда там только-только начали искать таймырский газ...

1969 г.

## НЕИЗЛЕЧИМЫЙ БОЛЬНОЙ (уголки детской памяти)

«В сорок дней он дитя; мир познанья  
младенцу не дорог. Он — великий мудрец,  
если лет ему минуло сорок»

Низами

**М**аленький Шухрат встает засветло. Он выходит из дому, садится на еще теплый тандыр, и, когда солнышко показывается из-за горбатой спины дувала, по-хозяйски осматривается. В саду цветут персики и сливы, в углу лежит старый медный кумган с серыми залысинами олова, бежит по арыку вода, кричит ослик, заглушая «кукареку» черного петуха, гулко кашляет кто-то на улице.

Все узнает Шухрат. Это ему знакомо.

Выходит из потемок дома мать, громко высморкавшись, просит:

— Душа моя, сходи-ка на гору, там сухой кизяк и веточки...

Тогда Шухрат спрыгивает с тандыра, кое-как седлает ослика и выезжает на улицу. В кишлаке все уже тоже просыпается. Курится дым со дворов, гремит железо. Где-то далеко на перевале натужено гудит машина.

Потом Шухрат обратно едет с горы. Тандыр уже раскален, а мать, надев на руку широкую кожаную рукавицу, ловко лепит на своей ноге кругляшки теста.

Шухрат ждет. Когда лепешки испекутся, он садится на широкую скамеечку и неторопливо ест. Мать убегает на работу, а он остается один. Для школы он еще мал. Вечером солнышко снова прячется за дувал, Шухрат идет спать... Укрывшись старым паласом, вспоминает прожитый день и увиденное в нем...

Однажды мать долго не приходила на обед. А пришла затемно и стала плакать. Шухрат сказал:

— Я тоже хочу плакать!

— Надо плакать, — ответила мать. — Очень большой человек умер... Сталин-ока...

— Где?

— В Москве...

— А его закопают в землю?

— Глупый, всех закапывают.

— Нет, я не пойду, — возразил Шухрат, — я в земле не хочу, я лучше за хворостом всегда буду ходить.

Мать еще больше расплакалась, а Шухрат ушел в гости к соседям.

Вернулся и сказал:

— Плачут... И дядя Карим, и тетя Хамро. Я боюсь...

Мать, всхлипывая, подняла его на колени. Шухрат стал спать.

Утром он проснулся ждать солнышка из-за стены-дувала.

— Иди есть, — позвала мать.

— А ты скажи, почему он умер?

— О чем ты, о, Аллах?

— Большой человек... почему умер, скажешь?

— Иди уж, остынут. Да он оттого и умер, что много думал...

— Нет, так не умирают.

— Умирают...

— А как? — удивился Шухрат.

— Подрастешь, поймешь...

Мать ушла на работу, а Шухрат в какой уж раз остался один. Скучно было ему. Он послонялся по двору и сел под дерево. С дерева осыпались нежно-розовые цветочки и понуро лежали на желтой земле. «Зачем же они упали? — спросил про себя Шухрат. — Теперь и пчелки все улетят... А куда они улетят? Может, у них нет домика... Пчелки летают, а собаки не умеют? И ветра не бывает, никто не вдел?!».

Шухрат встал из-под дерева и подошел к черному петуху. У него он спросил, почему петухи не умеют говорить слова, но черный петух не ответил, а взмахнул крыльями и закукарекал.

Так Шухрат весь день проходил по двору и у всех о чем-нибудь спрашивал. Но все молчали: и старый кумган, и колесо арбы, и арык. Тогда у Шухрата заболела голова, ему показалось — там шевелятся маленькие червячки. А вдруг это он думает! Шухрат сразу же испугался, зажмурил глаза. В темноте червячки немножко приутихли, потом стали шевелиться еще сильнее. Шухрат в страхе побежал в дом, взял там лепешки и налил себе молока. Когда он ел, червячки не зашевелились.

Пришла с работы мать, усталая, легла спать. Шухрат уснуть не мог. Он не знал, как остановить червячков в голове. Старый палас, которым он и на ночь укрывался, с каждым часом тяжелел, ему то было душно, то холодно. Наверное, он скоро тоже умрет, как Исталин, — очень большой человек в Москве.

«Я не думаю, нет, я не думаю, это я не думаю», — уговаривал кого-то Шухрат и с ужасом сознавал, что этот кто-то не верит. Ведь, вот когда он думает, что он не думает, это тоже дума.

Мать тихо спала и ни о чем не знала. Шухрат посмотрел в ее усталое лицо. Жалко мать. Он умрет, а с кем

останется она? Бабушки у них нету, дедушки тоже, про отца Шухрат ничего не знает. Кто ей сухие веточки будет собирать? Кто будет яйца из-под курочек выгребать?

Утром Шухрат не увидел солнышка — он не пошел его встречать. А мать встревожилась, что это ее сынок не проснулся?

В обед она прибежала домой — Шухрат в постели...

— Уж не заболел ли ты, душа моя?

Но лоб у Шухрата был влажным и холодным. Вот тогда она и побежала за доктором.

Доктор Кузнецов — русский переселенец. Он лечил всю скотину в кишлаке, и болезным соседям всегда помогал, задаром. Он послушал Шухрата, померил температуру, посмотрел горло, пощупал живот:

— Так, так, так-с... А скажите, молодой человек, что это у Вас болит?

Шухрат ничего не сказал, потому что рядом стояла мать, ведь ее он огорчать никак не хотел. Но и доктор был ни причем. Его тоже жалко.

Когда мать вышла ставить самовар, Шухрат помянул доктора пальчиком к себе и тихо прошептал:

— Не говорите ей...

Доктор тем же шепотом ответил:

— Клянусь!

Тогда Шухрат вытянул ноги под одеялом, сложил руки на грудь и отрешенно выдал свою тайну:

— Доктор-ока, сейчас умру, я, как тот большой человек в Москве, сильно задумался...

Доктор Кузнецов молчал, молчал, молчал. Потом встал с табуретки, одел очки и, спрятав в кончики губ улыбку, серьезно-торжественно сказал:

— Да, брат, это неизлечимо... Ты же стал человеком...

## БЫЛИ ГОСТИ...

(случай)

«Сказали так: «Да минет горе нас,  
пусть мальчика дурной не сглазит глаз!  
В шелка заботы кутая дитя,  
Окурим дикой рутою дитя!»

Алишер Навои

**В** саду тишина, сумрак. На тахте, где мягкие паласы и курпачи, — покойно. Не долетают гипсовая пыль и рокот дороги, не жужжат противно слепни. Уцепившись за край паласа, ходит вокруг тахты голопузый малыш в круглой вышитой тубетейке. Толстые губы выдувают пузыри, а черные, как изюминки, глаза с удивлением всматриваются в земную твердь. Ножка поднимается, согнувшись, и мягко шлепает оземь. Топ, топ, топ...

— Карамат, дорогой, гляди-и... Отпустил ручки...

Женщина в ярком широком платье, колоколом висевшем на ладном теле, счастливо улыбается, а затем подает к дастархану тяжелый ляган с горкой голубого дымящегося риса.

— На здоровье, уважаемые гости, кушайте, кушайте. Пусть в вашем доме царит та же благодать, что у нас.

О, уважаемая, — раздался из под высокой кроны чинары мягкий голос. — Такая хозяйка, как Вы, приносит в дом только ра-



дось, а еще, вот, прости нас, Карамат-джан, джигита подарит! Хамидчик, смелее. Топ... Топ...

...Горка риса таяла, обнажая зеленое глазурное дно чаши. Сумерки постепенно размыли зелень листвы. Теплый воздух окрасился водянисто-серой краской вечера. Причудливо придвинулись к саду крыши невысоких домов и силуэты щетинистых телевизионных антенн. По неровностям высокого дувала, опоясывающего сад, поплыли, пересекаясь, тени седевших на тахте. Иногда они косо падали на бурый брезент чехлов, которыми были задержаны два пыльных «Москвича».

— С друзьями радуйся, пока ты юн, весне: в кувшине ничего не оставляй на дне. Виночерпий, что делать мне с сердцем моим?

— Аим..., дорогая, ... принеси-ка еще.

— Нет, нет... Ко сну пора. Намаялись... Жара в дороге сломила.

— Хорошо ты задумал... Той будет ко времени...

— Слава Аллаху, с урожаем справились. В колхозе праздник...

Звон стекла опять поплыл по теплому саду. Из пучин темного и хмурого неба выглянули звезды. Заиграла мелодия, и тоскующий голос неторопливо запел: «Был Науфаль безмерно удивлен: «Что это означает? — молвил он...».

Счастье сидеть в такой вечер в саду с друзьями. Всю душу им. И они тебе — всю...

— Эге-ей, мужчины, — из открытых дверей дома слышался голос женщины. — Где там Хамид? Смотрите...

— Здесь, здесь! — громко закричали с тахты.

Кто-то добавил потише:

— Ползает где-то...

— Каков верблюжонок! В девять месяцев встал на ноги! А, вправду, где же он? Хамид, Хамид, где ты, пушок...

— Карамат, что случилось?

— Ничего, ничего... Спрятался, шайтан. Вот мы его сейчас...

Тени запрыгали на дувале. По саду, выкрикивая: «Хамид, Хамид», разбрелись гости и хозяин.

...Нашли его лишь после того, как включили фары двух «Москвичей». Ярко-лимонный луч одной из них упал на спящую воду хауза, осветив мусор и камни на илистом дне.

Там и лежал маленький Хамид, часом назад впервые ощутивший твердь земли: Топ... Топ...

*Август, 1974 г.*

## СТЕПНАЯ СТРАДАЛИЦА

(быль)

**С**ело Яруллино расположено у крутых отрогов Урала, в обезлюдевшей древней степи, которая раскинулась за огородами до самого горизонта: очертив под маревом неясную оранжевую полосу, поднимается в летний день к самому небу, унося на невидимых крыльях тоскующую песню жаворонка и дух утоптанного ковыля.

Я приезжаю сюда, когда простуженные легкие начинают работать с усиливающимся шумом, сдавливают и напрягают усталую от городского ритма грудь. Марфуга-апа — дальняя родственница — отпаивает меня кумысом и заунывным голосом спрашивает о буднях многочисленной нашей родни, о здоровье дедушек, бабушек, о городских новостях и новых знакомых. Я отвечаю ей обстоятельно, с превеликим почтением, ибо очередной мой курс лечения зависит от ее вспльчивого гостеприимства.

Апа одобрительно кивает седой головой, повязанной белым шерстяным платком, беспрестанно шепчет свое: «Аллахэ акбар, Слава Богу...». За окном, у которого мы сидим, на цыпочках бродит трепетная баш-

кирская ночь, где-то в степи побрякивает ветер, слышно лают собаки.

После четырехчасового застолья Марфуга-апа успокаивается, утирая платком тонкие старческие губы, повторяя молитвы, укладывается на полатях, чтобы на завтра снова приняться за хозяйство.

Я еще долго сижу у окна, вслушиваясь в горячее дыхание спящего села...

Жители Яруллино, братья мои по крови, живут в этой степи испокон веков. У них колхоз-миллионер, пастбища, многотысячные стада, молочная ферма и долгая, теперь уже счастливая, считают они, жизнь.

В их биографии есть яркие страницы, отмеченные удачей и подвигом, есть и такие, что темным пеплом покрыли бархатное поле памяти. Но как жизнь и смерть — единые измерения для всех живущих на матери-земле, так и война — единая веха для яруллинцев.

Смерчем пронеслась она по ту сторону Каменного пояса, разрушая города, селения, станки и колыбели. И если алчный огонь не коснулся крутолобых изб яруллинцев, то многопудовый камень народного горя опустился на их худые, как заезженные седла, плечи всей своей тяжестью.

Тридцать молодых парней, тридцать удалцев-джигитов проводило село в первые дни войны. Тридцать похоронок, тридцать черных писем-треуголок, проклятых всеми матерями земли, принес на свою беду Шаймурат-мархум — покойный яруллинский почтальон, весельчак и почтенный аксакал.

Почти сорок лет прошло, а в Яруллино люди помнят ту печальную и непонятную историю. В устах Марфуга-апы звучит она тускло, приблизительно, но степь — стремительная и неумирающая, познавшая

лихие набеги хунну и ордынцев, благородную тяжесть стального плуга, степь, дарующая жизнь и смерть, — рассказала мне больше, чем моя старая родственница, больше, чем то, что еще не потерялось в людской памяти.

...В ту победную весну степь от счастья одевалась в шелковые ленты трав, пьяная теплом, бросала к солнцу безумный гам птичьих хоров, бурлила, искрилась, освобожденно вздыхала, сбрасывая в овраги последние талые воды, вместе с ними и последние слезы обессиливших непомерными тяжестями людей.

Степь уже несла на себе ветра, поющие о близкой победе, уже прощала поредевшим табунам их разгульную шалость. Но и она не знала еще о страшной трагедии, случившейся на ее груди в то теплое, парное утро. Лишь после того, как она не дождалась себе обычного приветствия Шаймурата: «Да будет мир твоим теплым травам! Пусть солнце светит сердцу твоему!», степь поняла, что случилось что-то непонятное, непоправимое, жестокое.

...Его нашли мертвым на дощатом мосточке, что и сейчас горбится над тщедушной речушкой Аксу. Он лежал без почтальонской сумки, важно и сосредоточенно сдвинув седые брови, задрал к буйному небу редкую бороденку, а его старая, как он сам, войлочная шляпа одиноко валялась в стороне.

Черные от переживаний военных лет яруллинцы молча постояли вокруг старика и по законам шарията захоронили его в тот же день. Но уже через два дня приехавший из районного центра следователь прокуратуры приказал двум милиционерам вырыть труп Шаймурата: в районе обратили внимание на исчезнувшую сумку и решили, что ангел смерти Исраил пришел за душой почтальона не по собственному на-

мерению, а привела его к «верному мусульманину» чья-то жестокая и коварная рука.

В холодном заброшенном клубе, двери и полы которого яруллинцы в военные зимы порубили на дрова, следователь осмотрел труп почтальона и, к удивлению сонных милиционеров, обнаружил на увядшей шее следы насилия. Это известие эхом прокатилось по всем дворам, взбудоражило усталые сердца яруллинцев. Шаймурат не умер... Шаймурата убили...!

Дружно жили яруллинцы в лихие годы. Нужду и радость делили поровну. И не было на селе ни одного человека, ни одной семьи, не схваченной за горло войной. Поэтому так трудно было поверить, что в их среде есть убийца, бессердечный, дикий, как огненный смерч, пожирающий в засуху и без того худые хлеба. Трудно было смотреть им друг другу в глаза, каждый искал теперь в глазах других улику, чтобы разоблачить и обвинить. Обвинить и отомстить.

Старики, посоветовавшись, пришли прямо к хромоному Закиру, некогда славившемуся буйством характера, незаурядным мастерством уводить из соседних деревень горячих жеребцов. В то время Закир был примерным семьянином и заведующим гужевым хозяйством.

— Если Аллаху понадобилось найти среди нас человека бесчестного и низкопробного, как голодный шакал в пустыне, то им оказался только ты, Закир, зачем ты убил почтенного Шаймурата?

Хромой Закир кинулся пред народом на колени, моля о прощении за прежние грехи, рыдая, стал доказывать свою невиновность. Плюхнулась рядом беременная жена Закира, заорали смертно малые дети. Старики, напуганные такой неумемностью, бросились прочь от дома хромого Заира.

Районный следователь пригрозил наказать стариков за своеволие, а сам все же допросил хромого Закира, его жену и, не найдя против них улик, отпустил восвояси. Этот образованный, уважаемый во всем районе человек, долго ломал себе голову, выясняя обстоятельства и мотивы преступления, но, так ничего и не отыскав, вынужден был, быть может впервые в своей практике, очень скоро прекратить дело. Уезжал он из Яруллино растерянным, чувствуя незримый облик жестокого рока, свалившегося на бедную голову старого почтальона.

Так и оборвалась бы эта печальная история, если бы еще не одно обстоятельство, явившееся на свет в одно и тоже с убийством время.

Степь знала, что, как и сердца всех матерей земли, сердца яруллинских матерей отчаянно бились от черного дыхания похоронок, от одного короткого, как сам выстрел, слова «убит», и только потому не разрывались на части, что им предстояло еще из пламени своего родить новые жизни.

Выдержало сердце и у яруллинки Зайнап, соседки моей дальней родственницы Марфуга-апы, получившей раз за разом три похоронки — на мужа и двух сыновей. Но помутился разум тетушки Зайнап. Изменила русло светлая река ее жизни, потеряла природную связь с океаном людских судеб.

Каждый раз, когда степь, утробно вздыхая, сбрасывала с себя дремотную кисею утра, тетушка Зайнап выходила в потертом бешмете, с узелком в руках за село, брела по едва пробившемуся травам к горизонту с надеждой отыскать там убивицу-войну, предъявить ей свой материнский иск. Степь обнимала ее своей ширью, пенилась перед ней радужным цветом весны, и сама, вся трепетная, живая,

старалась пробудить в потухших глазах женщины тот же трепет жизни.

Однако глаза тетушки Зайнап, стальные, неживые, отчужденно смотрели мимо цветочных кружев, ее усталые ноги, ведомые природным инстинктом, шли неизвестно какими путями-дорожками.

Лишь к вечеру колхозный бригадир Султанбек, до изнеможения загнав единственную оставшуюся на тот год в колхозе ездовую клячу, находил ее в потемневшей степи. Спешившись, ласково обняв тетушку за плечи, приводил в село. Народ сочувственно называл тетушку «Сахри-кайнальщик» — Степной страдалицей.

Спустя два или три дня после смерти Шаймурата — Султанбек не нашел тетушку Зайнап. Как обычно, он изъездил все ближайšie увалы, осмотрел все овраги и останцы древних скал, надорвал горло в отчаянных криках, но возвратился в село ни с чем.

Наутро яруллинцы собрались на поиски всем селом. Подростки, женщины, разделившись на пары, пошли в степь. Семь дней и ночей тщетно раздавались в степи крики. Семь дней и ночей никто из яруллинцев не сомкнул глаз. И готовились уже, было, люди прочитывать молитвы за упокой души Степной страдалицы, как тетушку Зайнап нашли.

Поутру две колхозницы собрались на тока перебирать прошлогоднюю полову, чтобы приготовить из нее похлебку для пахарей. Дойдя до токов, они услышали за старыми щитами стон и какое-то бормотание. Это была тетушка... Исхудавшее лицо ее почернело еще больше, глаза метались, как два отчаявшихся зверька, старый облезлый бешмет был разорван в клочья.

Но не оттого остолбенели женщины. Ужас их охватил, когда они увидели на шее у тетушки Зайнап аму-



лет из серых треугольников. Нанизанные на красную ленту, письма шелестели на легком ветру, и от этого шелеста веяло смертью...

Добрая моя степь — мать и кормилица! Велика и всеильна ты всегда. В твоём торжественном молчании я слышу голос истории моего народа. Слышу радостное блеяние только что народившегося в твоих травах ягненка, скорбный стон человека, полоненного горем. Сквозь темную заводь времени открываешь ты мне извечные истины жизни... Добрые, как время, и жестокие, как война... Зачем открываешь? Пожалей сердце мое...

1983 г.

# ДЕДУШКА И АЛИМ

(новелла)

«Смотрю на хрупкий глиняный сосуд...  
Здесь трех тысячелетий был приют,  
которым противопоставил  
Ты обжиг свой, — и каждый век оставил  
Внутри тебя, храним твоим покоем,  
Частицы тонкой пыли, слой за слоем...»

Тудор Аргези

## I

**И**з-под каменной туши горы, пройдя карстовые лабиринты, просочившись сквозь лесовую жижу, пробиваются к толстым корневикам тысячелетних чинар родники. От их упругой силы вода в пруду пенится, тускло мерцает и неожиданно падает в долину через овальное отверстие круглого полированного камня. Огромные листья чинар, как чаши для плова, лениво кружатся в легком водовороте и бросают косые тени на песчаное дно, где в сонном дурмане гибко колышется родниковая рыба.

Удивляясь однообразию ее существования в закольцованном чинарами пруду, Алим наблюдает. Давным-давно, говорил дедушка, поселились у родников люди. Они называли рыбу аулия-балык, святая рыба. А что в ней святого? Жирная, ленивая, ловить ее нельзя... За это дед может запросто отходить по спине палкой.

Алим обернулся к каменной супе, угнездившейся под широченной кроной чи-

нары. Дедушка сидел, уставив взгляд на свои пыльные хромовые ичиги. Низко свисал, почти касаясь камней, конец белой, мастерски повязанной чалмы. Мягкая бородака прильнула к голубому халату, пригrelась в узком столбике солнечного луча. Сбоку на супе, придерживаемая высохшей рукой, лежала суковатая палка, почерневшая, покрытая блеском старины.

— Дедушка, — позвал Алим, — дедушка, пойдем домой.

Дедушка вскинул белые дуги бровей:

— Пойдем, пойдем, Алимджан. Вот сейчас... Эх, старый черт, совсем расклеился... Поправь, душа моя, хурджуны на нашем Ураке.

Урак, покорно ссутулившись, жевал пучок подсохшего клевера. Набросив кебанок, Алим оторвал от земли кожаные мешки. Толчок коленом — хурджуны, словно коромысло, легли поперек Урака... Ах, дедушка! Ты позабыл, что Алиму еще в мае стукнуло одиннадцать, он вправе считать себя настоящим мужчиной. Разве мужчина может допустить, чтобы во время привала поклажа оставалась на спине осла? Спи на запрее, тогда Урака обязательно одолеет хворь...

— Де-е-душка...

— Поправил? Поспешим, поспешим, душа моя. Пересохнет глина. Святой Хызр, не отними у бедного горшечника его рук и глаз.

Дедушка с трудом поднялся с супы, протянул вперед руку с палкой, пристукивая ею, согнувшись, пошел по тропинке.

Каждый раз, когда Алим с дедушкой, покидая обволоченный мучнистой пылью кишлак, поднимался в горы в чинаровую роццу, к родникам, восторг пронизывал его выдубленное солнцем тело.

Здесь был загадочный, непознанный мир. Пламенила золотом бликов листва. Чинары, одичалый виноград переплелись толстыми ветками. Шустрые агамки жгутиками шныряли по полированным скалам, замирали на мгновение, поводя настороженно головкой, и быстро исчезали в сырых расщелинах. Пели цикады. Порхали, щебеча в упоении, какие-то птахи. Жуки, пауки, мошки, ящерики, змейки, травы, деревья, листья, хрусталем переливающийся стремительный ручей, серый камень с причудливой вязью непонятных букв, древний мазар, заросший мхом, увенчанный грубой корзиной аистового гнезда, — все здесь было на своем месте. Каждую мелочь, каждый камушек природа наделила неповторимым штрихом, цветом, формой, запахом, теплом или холодом, сумела пронзить чудодейственной родственной нитью. Алим смутно сознавал, что и сам связан с многообразным миром той же нитью, и дедушка тоже, и ослик Урак.

## II

По тропе спустились быстро. Взору открылась знакомая панорама полуденного кишлака. Оглушенный жарой, он лениво лежал в долине, ошестинившись радио- и телевизионными антеннами, бумажными змеями, парившими в голубой зыби неба. По желтому взгорью пылила отара, выбирая среди острых камней старые тропки. За кишлаком пестрели ровные квадратики табачных плантаций и виноградников.

Дедушка шел впереди и его согнутая спина была похожа на крутую спинку рыбы.

— Отчего рыба в нашем пруду святая, — спросил Алим, подогнав Урака ближе к дедушке, чтобы слышать ответ. — Отчего, дедушка?

Но дедушка промолчал. Он, как никогда, сосредоточенно обходил острые камушки, прощупывал подолгу палкой тропу, будто шел по ней сейчас в первый раз.

Так и добрались до улицы. Пахнуло застоялым течением неторопливого кишлачного быта. Встречные почтительно здоровались с дедушкой, он в ответ кивал каждому. Спрашивали, достал ли в горах нужный камень? Дедушка снова наклонял голову в молчаливом ответе.

Не онемел ли дедушка? За всю жизнь не приходилось Алиму видеть, чтобы кто-нибудь не обмолвился словом на привычное приветствие прохожего. А тут родной дедушка! Нарушает укоренившийся обычай! «Ассалому алейкум — мир вам», — приветствует человек встречного. И тот непременно должен ответить: «Ваалей-кум ассалом — и вам мир!». Ну, кому это не ясно...

### III

Томительный дух доходящего на малом огне плова кружит голову. Безропотно семенит к дому ослик, поскорей хочет освободиться от груза. А Алим думает о поведении дедушки. Никто его не понимает. И мать Алима не понимает, и бабушка, и старший сын дедушки — дядя Кадыр. Дедушке под восемьдесят, а он, как говорит бабушка, такой же «дивана», чудак!

Был дедушка давным-давно хорошим кулогаром-горшечником. Ни сна, ни отдыха, ни дня, ни ночи! Возил с гор камни, растирал краски, глазурь, на камышовом пуху замешивал глину, месил до кровавых ран на ногах, вертел на гончарном кругу хумы, кумганы, касы, кувшины-офтоба, чаши-ляганы, поливал глазурью и красками, выставлял после длинных причитаний-зак-

линаний на обжиг. Зато вся округа — от Ургута до Самарканда, от Китаба до Пенджикента — пила, ела, мылась из его посуды.

Жизнь замела эти годы пылью невозвратных дней. Давно потеряли спрос дедушкины горшки, кувшины-афтоба, чаши-ляганы. На полках кишлачного хозяйственного магазина полным-полно фарфоровой и эмалированной посуды.

А дедушке все одно. Не отступается. И райисполкомовский фининспектор сколько раз грозил обложить налогом, просто так, лишь бы бросил старик кустарничество.

Разное люди говорят про дедушку, хоть и уважительно, но... Живет бог вещь каким днем. О благополучии не думает. Внука к ненужному делу приучает. Мудро ли теперь глину месить, краски натирать, горшки лепить, когда у всех в кишлаке есть телевизоры, холодильники, кое-кто хрустальными сервизами пользуется...?

Советовали дяде Кадыру — главному кормильцу семьи — уговорить отца бросить дело. Пытался — навлек на себя гнев. Больше не пробовал.

— Плюну вверх — свои брови, плюну вниз — своя борода. Куда мне деться, — вздыхал дядя Кадыр.

Сам он давно работал в совхозе, даже в бригадыры вышел. За каждый килограмм табака получает четыре рубля! Большой семьей обзавелся. Племянника — сына рано умершего брата — не забывает, кормит, поит, одевает, поучает.

#### IV

Добрались до дома. Разгрузились. Помылись. Дедушка как-то торопливо юркнул к себе. Алим взоб-

рался на плоскую крышу дома, чтобы понаблюдать за змеями. В глубинах голубого зноя парили они, пущенные мальчишками, превращались в сказочных дивов, добрых, злых, страшных, не страшных. И приходила на крышу дедушкина сказка.

«...Вдруг откуда ни возьмись, черная туча закрыла небо. И земля почернела. Появились четыре вихря-смерча и подлетели к дереву — под ним отдыхал царевич. А когда подлетели, рассеялись, превратились в дивов с длинными, как минарет, ногами. Со страху залез царевич на дерево и притаился. Дивы уселись на землю и стали спорить.

— Раз мы сами решить не можем, надо кого-нибудь справедливого позвать. Где только его найти? — говорит один.

А другой ему отвечает:

— Его искать не надо. Он здесь рядом сидит. Эй, джигит, слазь с дерева.

Пуще прежнего затаился царевич, страхом наполнилось его сердце...»

Чу! Сказка или нет? Чей это голос слышен с земли?

— Слазь, говорю, с крыши. Чей, мальчик, будешь?

## V

...Зарывшись желтыми сандалиями в мучнистую пыль дороги, стоял внизу незнакомец в больших темных очках. Толст, рыхл, в белой шелковой безрукавке, повторяющей рябь чрезмерного живота, на котором покоились, поблескивая кожей и никелем, кинокамера и фотоаппараты.

У Алима сердце замерло.

— Ты чего на крышу забрался? — спросил незнакомец по-русски.

— Змеи, — невнятно пробормотал Алим.

— Помню, помню... «И превратились вихри в дивов, и завели свой глупый спор...».

Еще больше забилося сердце. Рыжий знает дедушкину сказку, он провидец...

— Григорьев, археолог, — протянул снизу руку толстяк. — Будем знакомиться.

— Алим, — пролепетал Алим.

— Внук усто Джуракула? — Археолог тяжело присел на корточки, прицелился фотоаппаратом: щелк, щелк. Блеснула на солнце линза объектива...

— Прыгай ко мне. Птичка улетела. Дивы улетели. Улетела синяя птичка Симург. Малыш, все мы о ней мечтаем!

## VI

Присели на корявое тутовое бревно у ворот. Археолог пыхтел толстыми губами, утирался поминутно большим платком.

— Царевич, где твой дедушка?

— Лихорадка его трясет, — вспомнив странное состояние дедушки, ответил Алим.

— Домой пригласишь?

— Проходите, — степенно приложив правую руку к халатику, сказал Алим.

У мастерской, где в беспорядке лежали непроданные дедушкины горшки, чаши, толстяк остановился, присел, стал перебирать руками каждую вещь, внимательно осматривал узоры и рисунки.

— Пожалуй, здесь и подождем...

— А фининспектор дедушку ругает. И бабушка, и дядя Кадыр.

— Слепцы, — пробормотал толстяк, еще присталь-



ней всматриваясь в рисунки. Повторил: — Слеп-цы. Твой дедушка большой человек, художник.

— Художники картины рисуют.

— И картины... И стихи пишут. Они — чародеи. Хранители.

— Что же они хранят?

Археолог снял сползшие на нос очки, долго обтирал лицо платком.

— Что, говоришь? Гм... Например, красоту, тайну... Вот ты, каким был пять лет назад?

— Забыл.

— То-то. А кто помнит, какими люди были много веков назад? Никто... Художники только. Посмотри сюда, — толстяк протянул Алиму чашу.

— Кресты, колечки... Дедушка умеет красиво рисовать. Но где тайна здесь?

— Вот тебе тайна. Эти три колечка — символ богини-матери Анахиты. Была такая у древних людей. Они верили в небо, землю, огонь. Хромой Тимур почитал Анахиту. У него печать-пайцза с тремя кольцами.

— А крестики?

— Крестики? Это огонь. Круглые пятна — солнце, солярные знаки. Волнистые линии — вода.

— Дедушка и барана рисует!

— Так-так... Это фетиш, родовое животное, тотем. И еще баранчиком солнце считали. Сушки ел?

— Ел.

— Их русские баранками называют, потому как они похожи на круглые рога горных баранов и на круглое солнце. Выходит, и мы, славяне, светилу поклонялись.

— А дедушка про крестики, кольца ничего такого не рассказывал, — огорченно вздохнул Алим.

Толстяк улыбнулся, похлопал его по плечу.

— Очень даже понятно, малыш. Ведь он и сам не знает об этом...! Мы у вас за горой вчера раскоп сделали, нашли блюдо. Точь-в-точь как у твоего дедушки. Тысячу лет назад поклонялись здесь люди солнцу и огню. Если бы мы не нашли чашу, кто об этом бы рассказал? Что бы рассказало? Только блюдо дедушки твоего...? Вот так-то.

У Алима заколотилось сердце. Дедушка — волшебник... Волшебник!

## VII

Дедушке полегчало, и бабушка позвала археолога в дом. Гость просидел допоздна, а, прощаясь, подарил Алиму красивый значок. Алим прибежал с ним к дедушке. Дедушка был слаб, но счастлив. Усевшись на супу, он расставил под ногами свои блюда и кувшины. Щелкал языком, радостно улыбаясь.

— Душа моя, — погладил он Алима по жестким коротким волосам. — Ты спросил, почему люди называют родниковую рыбу святой?

— Это я утром...

— Аулия-балык — сердце нашего родника. Через камни пробивается вода к людям, не будь рыбы — вырос бы родник водорослями, тиной, пропал бы. Аулия-балык хранит наш родник, очищает...

— Дедушка, а ты тоже хранитель?

Но дедушка уже не слушал, потому что умер. Его обмыли и быстро, всем кишлаком, пошли хоронить к старому мазару на горе.

Алим бежал в гору за процессией и совсем не замечал, что люди движутся по его и дедушкиной тропе, мимо родников и чинар, мимо камня с овальным отверстием, мимо темных скал. Но когда пение птиц на-

помнило ему о полуденных прогулках, он сел на камень у могилы деда.

— Дедушка, а как же я, а ослик? Дедушка...

## VIII

Через сорок дней дядя Кадыр позвал соседа. Они взялись за кетмени и ломы. Вывезли со двора глину, приготовленную дедушкой для кувшинов и чаш. Сломали лачугу, где ослик Урак с перевязанными глазами ходил по кругу, растирая мельничным камнем свинцовую руду на краску. Быстро был разобран ветхий навес-айван, под которым сушилась сырая посуда. Двор стал просторным, пустым.

Бабушка плакала.

Когда дядя Кадыр подошел с ломом в руке к мастерской, чтобы ломать печь, Алим неожиданно для самого себя подскочил к нему и ударил кулаком по спине.

— Зачем ломаете! Это дедушкино... — слезы брызнули у Алима из глаз.

— Оббо! — сказал тогда сосед и озадаченно почесал затылок. Потом посмотрел на плачущую бабушку и ушел восвояси.

Опустились руки и у дяди Кадыра. Озабоченно качая головой, он отправился в чайхану рассказывать приятелям о непочтительности племянника. Неслыханно!

## IX

Вечером с гор потянуло теплом и арчевой хвоей. Алим зашел в дедушкину мастерскую. К горловине обжиговой печи свисала с потолка маленькая, засижен-

ная мухами лампочка. Когда-то дядя Кадыр, еще не оставивший гончарного ремесла, провел ее сюда. Она тускло освещала гончарный круг с одиноким комочком высушенной глины.

Ночь за стенами была темной и звездной, непрерывно журчала в арыке вода. Квакали лягушки. Люди сидели в чайханах и говорили о новостях. Смотрели телевизоры. Ложились спать. Смеялись и переругивались. Укладывали детей. У жены фининспектора родился сын, и отец, счастливо улыбаясь, весь вечер угощал друзей и соседей пловом. За полночь, перелетев гору, ворвался в кишлак гул реактивного самолета. Потом затих. Алим не выдержал и заплакал. С ним не было рядом дедушки, и он не знал, где сейчас добрый толстый археолог.

...Долга была ночь, и долги были слезы. Они скатывались по щекам мальчика на серенький комочек высушенной глины и она после каждой слезинки размокала все больше и больше. Вскоре серый цвет растворился в фиолетовых, желтых, розовых и синих оттенках. Глина ожила, потеплела, как лицо дедушки. Алим, не отрывая уже сухих глаз от одинокого комочка земного праха, осторожно дотронулся до шершавого гончарного камня. Камень дрогнул от прикосновения человеческой руки. Он будто вспомнил что-то, а потом закружился...

*Ургут, 1977 г.*

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

# **ТАМ И ТОГДА**

*(опыты исторических реконструкций  
мгновений бытия)*

## ПАЛЕОЛИТ: В УЩЕЛЬЯХ ДИКОБРАЗА

(рассказ)

**...**Временами огонь угасал и Старый Бот брал головешки в руки, а потом пришептывал в сине-фиолетовую твердь старые, как он сам, слова заклинания:

— Мать-Огонь, разгорайся ярче... Ешь больше! Согревай людей... Дай чистоту...

Оленьи копытца и волчьи хвосты болтались на поясе. Все жадно и молча смотрели в сторону костра. Даже дети не кричали в черные от копоти своды пещеры, хотя им, как никогда, хотелось крика и мяса.

— Мать-Огонь, Солнца частица... Надежда, спасение наше... Великодушием одари...

Пламя поднималось все выше и выше. И уже видны были голодные лица мужчин и женщин племени Настоящих людей. В окрестностях пещеры лежала чужая, незнакомая земля. Она еще не кормила их, ведь они только что пришли сюда. Вчера женщины отловили всех ящериц и мышей, но еды не хватило. Дети сорвали ногти в поисках сладких кореньев — вокруг больше не осталось.

После голодной ночи в углу пещеры крикнул раненый Немолодой Якке. Горный медведь разорвал ему грудь. Весь переход

грудь Немолодого Якке сочилась густой кровью. Великая Мать-Айны племени Настоящих людей, ночью сторожившая больного, пристально посмотрела на вытянувшегося охотника. Потом прижгла ему головешками пятки. Немолодой Якке на ожог не среагировал. Тогда Великая Мать-Айны горько завывала, проклиная и умаляя кого-то:

— Проклятый Большой-Сон... За нами охотится Большой-Сон! Мы шли две луны, Якке устал. Все устали. Скоро все уснут Большим-Сном... Мать-Солнце, дети плохо родятся... Некому рожать... Настоящие люди забыли свои танцы! У нас нет новых шкур! Молодые Настоящие люди не находят Молодых Настоящих женщин! Женщин мало...

Великая Мать-Айны передохнула немного, подогнула толстые ноги, поправила тянувшиеся к огню черно-белые волосы, подвязанные по ободку головы крученым ремешком:

— Так не было раньше! — продолжила она говорить, уже только слегка подвывая. — Раньше мы ели много мяса! — Сказав это, вопросительно повернула голову в сторону Старого Бота. — Почему ты не открываешь рот? Надо уходить к Зеленым травам. Я скажу Настоящим людям, чтобы уходили...

Старый Бот молчал. И тогда Великая Мать-Айны снова тихо завывала. Теперь Старый Бот хотел что-то сказать, но Великая Мать-Айны выла, а потом начала капризно скрести утрамбованный песок на дне пещеры.

Старый Бот смиренно ждал, когда она снова скажет свои внутренние слова вслух. Но она устала от вытья и все еще держала свои очередные внутренние слова за языком.

Раньше Старый Бот и сам решал идти или не идти куда-то, если кто заснет Большим-Сном. Но сейчас он

очень стар, чтобы его послушались все Настоящие люди. Он привел их на Плоскогорье, где был вместе с Большими Настоящими людьми еще в молодости. И ему давно пора уснуть Большим-Сном, как это сделал Немолодой Якке после встречи с Горным медведем.

Подняв голову, Великая Мать-Айны сразу без слов поняла намерение Старого Бота уснуть Большим-Сном и грозным взглядом велела не делать этого. Лучше Старого Бота никто не мог колоть на пластины белый крепкий камень и заклинать грозные тучи. Пусть вначале научит своему умению Молодых-охотников.

— Положи мои слова себе в ухо и ответь, понял ли ты меня? — так на этот раз сказала Великая Мать-Айны.

Конечно же, Старый Бот понял. Понял еще, когда она только посмотрела в его сторону. Но Старого Бота уже отвлекли собственные внутренние слова. Он их слышал так: «Если кто заснул Большим-Сном на охоте, — беда! Вспомни, когда Великая Мать-Айны была еще девочкой, Большим-Сном уснул Старый Одноглазый-Йима. Настоящие люди всегда хотели быть с ним и не закопали в землю. Он лежал в пещере. Каждый чувствовал, что он рядом, что Старый Одноглазый-Йима защитит их. А Мать Великой Матери-Айны сказала тогда:

— Зачем уходить? Пусть Старый Одноглазый-Йима не уходит в Нижнюю Землю. Пусть будет всегда с нами. Здесь много оленей. Здесь сладкие плоды, вкусные корни.

И Старый Одноглазый-Йима, действительно, сам не хотел уходить в Нижнюю Землю. Большой-Сон заставил открытые его глаза, не моргая, смотреть в свод



пещеры. Он так молча лежал три ночи. Наверное, он не хотел уйти от Настоящих людей в Нижнюю Землю. Потом он еще три ночи лежал. Его волосы заплетали, играя, дети...

Через семь ночей случилась беда. Старый Одноглазый-Йима позвал в Нижнюю Землю много детей. Они тоже уснули Большим-Сном, с ними — матери. Настоящих людей осталось совсем мало...

Потом подросла Великая Мать-Айны, которую Старый Бот помнит еще Маленькой-девочкой. Вытянувшись в рост, она нарожала много охотников. Тогда Старый Бот тоже спал с ней. Из родивших ею охотников Большим-Сном уснул пока только Немолодой Якке. Его нельзя оставлять в пещере. Слишком долго они шли к ней. У Черных Скал, куда они пришли, только эта пещера и горячая Мать-Огонь обогреют их. Нельзя уходить... А куда деть Немолодого Якке?

— Люди Чистых Полей связывают уснувших Большим-Сном большими ремнями, — сказал, наконец, свои внутренние слова Старый Бот. — Они их сразу отдадут Нижней Земле. Сами... Не надо покидать пещеру. Надо закопать Немолодого Якке, иначе через три луны дух его прорвется сквозь тело, а потом войдет в тела других охотников. Потом в тела женщин. Потом в тела детей.

— Ты хочешь сам отправить Немолодого Якке к Нижним людям? — зло посмотрела на него Великая Мать-Айны.

— Он все равно уйдет к ним. Все, уснувшие Большим-Сном, уходят в Нижнюю Землю.

— Нет, — зарычала Великая Мать-Айны, как когда-то зарычала ее мать, не дававшая племени Настоящих людей закопать Старого Одноглазого-Йиму в канаву у предпещерной площадки. — Мы уйдем! Мы

заберем Немолодого Якке с собой. Мы убежим. Здесь пустые холмы...

— Они не пустые, — закрыв глаза, выдохнул Старый Бот. — Скоро Мать-Земля отойдет от Матери-Солнца. Сменит бурую шкуру на белую. Стада вернутся, а Старый Бот знает охоту... На равнине белая шкура Матери-Земли толще и холоднее. Там траву трудно щипать. Ее мало. На холмах ветер сдувает шкуру, здесь олени найдут корм... Мы отправим Немолодого Якке в Нижнюю Землю, положив его в яму, и дождемся оленей... Если не положим Немолодого Якке в яму, он попросит уснуть Большим-Сном других Настоящих людей. Надо его быстро отправить в Нижнюю Землю...

В памяти Старого Бота остался еще один случай, когда он вместе с родом-племенем уже переходил перевал через Черные Скалы. На стороне, где восходит Мать-Солнце, почти все племя испустило свой дух, потому что не закопало порванного барсом Старого-охотника, а ночевало безмятежно рядом с ним.

Великая Мать-Айны сидела, опустив свою гривастую голову. Наверное, согласилась со Старым Ботом.

Старый Бот гортанным криком поднял на ноги Других-охотников. Отыскав толстые сучья и старые оленьи рога, те начали рыть яму. Вскоре от них отделился Крепкий Тука, ловкий, но уже престарелый охотник. Лоб у него был скошен назад, а мускулы рук и ног бугрились на теле, как мощные корни высоких деревьев. Крепкий Тука решил развеять сомнения Старого Бота. Старый Бот принял правильное решение. Немолодого Якке нельзя оставлять в пещере, его надо сразу отправить в Нижнюю Землю. Пещера нужна живым Настоящим людям, слишком долго шли они сюда.

Когда Другие-охотники вырыли яму, женщины пошли вниз, к ручью — набрать в ладони красной глины. Вернувшись, быстро высыпали глину на дно открытой ямы. Как только у Немолодого Якке вытечет вся кровь, он там, в утробе Матери-Земли, вотрет себе в тело красную глину, чтобы жить снова.

Но Старый Бот и Крепкий Тука взяли ремни и связали заснувшему Большим Сном Немолодому Якке руки, чтобы он не смог, заснував, выбраться на Верхнюю Землю. А если выберется, то беда! Он обязательно вселится своей душой в тела Настоящих людей и уведет с собой в Нижнюю Землю.

...Вскоре Немолодого Якке опустили в яму. Молодая Урулла, которая иногда спала с Немолодым Якке, успела бросить ему на грудь охапку цветов, чтобы они в Нижней Земле ароматом своим пробудили у него память о ней и второе дыхание, взамен дыхания, улетевшего в небо. После этого Другие-охотники сразу же закидали яму землей и камнями.

Старый Бот зарычал на Уруллу и других, кто задержался у ямы, отшвырнул от ямы. А Крепкий Тука помог ему в этом. Хотя Настоящие люди все еще голодные, им надо быть подальше от ямы. В ней через несколько лун будет зловоние. Они не должны приближаться к лону Матери-Земли, так оно потревожено. Они не должны уснуть Большим-Сном, как Немолодой Якке..

Утром Настоящие люди поднимались плохо. Голод давил их желудки. Великая Мать-Айни отправила Будущих-мужчин искать мелкое живье и сладкие травы. С Тонконогой Дану остались Будущие-большие люди и малыши. И Тонконогая Дану, дочь Великой Матери-Айни, командовала Будущими-большими людьми племени. Она в тот день заставила их камнями

ми отрыть в рыхлых стенах пещеры лежанки для больных и для Самых Маленьких-Будущих людей. Потом по ее команде принесли очажные камни, отрыли яму для варки мяса. Собрали вокруг пещеры хвост. Скудные запасы шкур вынесли на ветер для просушки.

Старый Бот вывел Других-охотников на промысел в длинное ущелье под пещерой. Со старым Ботом в паре пошел Пекк, а Крепкий Тука ушел с Арком в другом направлении. У молодого Пекка был тот же прямой нос, что и у Старого Бота, тяжелый затылок. Были такие же крепкие руки и цепкие глаза. И уже пробивалась борода, похожая на ту, какую Старый Бот носил, когда был молодым, как Пекк.

\* \* \*

После того как Старый Бот ушел с Пекком и Другими-охотниками на промысел, прошло три ночи. Много и очень много звезд упало с неба... Почти забыли о Немолодом Якке, которого зарыли в яму, — и даже Молодая Урулла перестала приходить с цветами к небольшому холмику снизу от предпещерной площадки, где, присев, нашептывала ушедшему в Нижнюю Землю Немолодому Якке ласковые слова.

За три ночи и три дня Тонконогой Дану и Великой Матери-Айни удалось обустроить саму пещеру так, что в ней хотелось и спать, и сидеть, вглядываясь в искры, которые рассыпала Мать-Огонь, и хорониться от рычащих Больших кошек. У входа в пещеру, там, где маленькую впадинку обложили камнями, сидели Будущие-настоящие женщины, то есть те, кто еще ни разу не спал с охотниками. Они следили за россыпью искр и, когда надо, подбрасывали Матери-Огню сухие ветки.

На боковых лежанках резвились Все-еще-Дети: Великая Мать-Айни приказала бросить им мягкие шкуры. Забавными волчатами теперь барахтались они в тепле. Родившие и не родившие их Молодые Матери по очереди прислонялись грудями к краям лежанки, и похожие на белые комочки Совсем-еще малыши сосали их.

В соседней пещере, которую нашла Тонконогая Дану, хранились медвежьи черепа, оставленные каким-то другим племенем. Там когда-то жили Отцы-Медведи, потому что когтями они расцарапали все стены. Там жили и те, кто из другого племени раньше Немолодого Якке уснул Большим-Сном. Там было темно. Там был такой вход в Нижнюю Землю, как в пещере у Зеленых трав, которую покинуло племя Настоящих людей. Этот вход напоминал детородный низ живота Великой Матери-Айни. В пещере у Зеленых трав через него выползали пленники Настоящих людей, которые хотели тоже стать ими и избежать смерти.

Великая Мать-Айни была рада, что Тонконогая Дану нашла еще одну пещеру, похожую на ту, что была у Зеленых трав. Там, у Зеленых трав, находился Большой водопой. В лунные ночи охотники племени поджидали возле него козлов и косуль, быстроногих сайгаков, джейранов... Много мяса ели Настоящие люди. Много песен пели они. Танцевали они красивые птичьи танцы...

И сразу дым в глазах закружил у Великой Матери-Айни. Зачем она вспоминала пещеру у Зеленых трав? Были там танцы, но и слез немало там пролито... Почему забыла она?

Однажды она рожала, когда к Зеленым травам подкрались люди племени Степной черепахи. За камы-

шами спрятались они и три ночи ждали охотников Настоящих людей. А когда взошла Мать-Луна, их тонкие дротики сразили на тропе охоты многих мужчин Настоящих людей. Потом люди Степной-черепахи пришли в пещеру... За волосы стащили они ее с материнского ложа: она чуть не задохнулась в крови родившийся девочки.

Семь женщин люди Степной-черепахи забрали себе. Орала в экстазе, примеряли шкуры, скалились, пробуя лежанки, повалили на них не рожавших Молодых-женщин. Потом люди Степной-черепахи показали на горы: «Вон ваша земля», и бросили камни на головы Настоящих людей. Кто уцелел, побежали от пещеры у Зеленых трав к горам...

Семь по семь осталось Настоящих людей. Вот почему боятся они вспоминать пещеру у Зеленых трав: дикий стон вырывается из груди, если вспомнят. Великая Мать-Айни вспомнила, поэтому сразу начала поскуливать, и синий дым сразу стал застилать ее большие глаза...

Потом Великая Мать-Айни стала укорять себя внутренними словами за слабость, которая в такой ситуации была ей не позволительна. На ней и на Тонконогой Дану столько забот, надо держаться... Другие-охотники вместе со старым Ботом куда-то пропали, это ее тоже очень тревожило...

Но к четвертым вечерним сумеркам Другие-охотники со Старым Ботом и Пекком, наконец-то, пришли, хотя мяса принесли мало — куда-то ушла удача... И никакие заклинания Старого Бота не помогли... Большие кошки были удачливее Настоящих людей.

На следующее утро, не дожидаясь Матери-Солнце, Великая Мать-Айни снова послала оставшихся охотников рода-племени в горы. Крепкий Тука, Пекк

и Другие-охотники боялись крутых гор, и никто из них не знал, где может прятаться кабарга, достанут ли их тупые дротики... Лишь Старый Бот вспоминал свою молодость и время давнего пребывания на Плоскогогорье возле Черной Скалы прошлых Настоящих людей. Тогда еще не уснула Большим Сном мать Великой Матери-Айни, а сам Старый Бот был еще только в разряде Будущих охотников.

Проговаривая сейчас свои внутренние слова об этом, Старый Бот вспоминал былые места охоты, а потом подозвал к себе Других охотников. По его команде трое из них ушли к Южным ветрам, еще трое — к правому от пещеры склону. А сам Старый Бот и Пекк пошли к Высокой Воде, которая и днем и ночью ревела утробными перекатами.

— Смотри, — вытянул палец Старый Бот. — Там собирается Белый холодный мех Матери-Земли!

И, действительно, над головой, где торчали острые соски Черной Скалы, повис Небесный дым, который уже зацепился за каменные груди и стал вытягивать молоко Матери-Земли. Старый Бот знал, что после того как Небесный дым насытится молоком Матери-Земли, на нее выпадет Белый холодный мех...

— Мать-Солнце скоро уснет, — сказал Старый Бот. — Настоящие люди будут мерзнуть. Надо есть много мяса. Настоящим людям надо семь по семь быстрых оленей, три по три Горных медведя.

— Это мало...

— Больше не бывает...

— Бывает...

— Молчи! — все еще крепкий кулак Старого Бота остановил другие слова Пекка. Много говорит молодой охотник, много спорит... Так в племени Настоящих людей делать нельзя!

Вскоре над головами Старого Бота и Пекка пролетела большая птица с грязно-белым оперением вокруг тела и с голой шеей до головы. Потом увязалась походя на волка гиена, которую Настоящие люди называли Испака. Она надеялась, что охотники выбросят теплые кости.

А охотники все круче и круче поднимались к Высокой Воде, которая вскоре еще сильнее дала знать о себе утробным ревом. Они увидели, как Черная Скала, разинув зев, отрыгивала огромные потоки простой воды. Много Низких-Солнц вспыхивало над головой. Все тряслось, вертелось, стонало. А Высокая Вода вспенивалась и падала вниз, успокаиваясь только в Голубом Озере.

Старый Бот пал на колене, вознеся руки к Высокой Воде, и что-то наговаривал в ее сторону. За ним упал на колени и молодой Пекк. Он тоже бормотал про себя какие-то внутренние слова...

За ближним камнем снова показалась Гиена-Испака, а Старый Бот и Пекк стали готовиться к охоте. Старый Бот собрал в потаенных от воды местах сухие ветки, потом достал из-за поясной шкуры клочок мха и два Жестких Камня, которыми высек искры из глаз еще невидимой Матери-Огня. Когда костер разгорелся, Пекк отжег концы дротиков, которые они несли с собой. Эти концы успели уже отсыреть, нужен был новый обжиг — так учил его делать Старый Бот, который только что отошел куда-то.

Снова показалась Гиена-Испака. Пекк посмотрел на свои дротики с закаленными концами, поднял один и хотел метнуть в назойливого зверя.

— Остановись, прорычал Старый Бот. — Гиена-Испака ходит за охотниками, чуя удачу. Почему люди Голубой долины удачные охотники, потому что



за ними ходит целая стая гиен. Они помогают охотникам...

Словно поняв слова, сказанные языком Старого Бота, Гиена-Испака подошла ближе. Она смотрела на Старого Бота как равная на равного. С утра до ночи ей приходится носиться со стаей по оврагам и густым тугайным зарослям. Если стая загонит в камни молодого поросенка, от него не остается ни клочка. Но это бывало так редко, что Гиена-Испака не помнит, когда в последний раз такое было. А, может, и не было никогда...

Потому она и отстала от стаи. Когда поросенок снова и снова снится, она пробирается поближе к двуногим существам, сидящим у пылающих ветвей и грызущим вкусное мясо. Раньше это были двуногие из Голубой долины. Они аппетитно щелкали клыками, а иногда... бросали в ее сторону теплые кости: «Ешь, Испака!».

\* \* \*

Сейчас же она ходит за другими двуногими, которые недавно пришли на Плоскогорье к Черной Скале. Может, и у них будут теплые кости. Они двуногие! Только двуногие грызут мясо после того, как обжигают в огне. Только двуногие не боятся огня, чье пламя страшнее зрачков матерого вожака стаи.

Этих двуногих Гиена-Испака заприметила сразу, как только они спустились с глинистого склона: значит, пошли на охоту. Но на кого? Зверя здесь мало. Даже она, гиена, чувствующая живое на много-много прыжков до него, редко здесь чует добычу. Что найдут эти двуногие? А, может, что-нибудь найдут. А, может, они найдут вместе?

Русло ручья, по которому шли охотники, сужалось. Все резче вырисовывались крутые берега:

желтые, бурые, зеленые с фиолетовыми прожилками, перевоплощаясь в темный и причудливый каньон. Невидимая земная или небесная сила сотворила в нем каменные колоссы: огромного гранитного медведя, огромную гиену, облизывающую раненую лапу, готового к взлету чудовищного грифа. Складчатые берега каньона переплелись, зияли вертикальными разноцветными воронками, были изрыты гнездами голубых птиц, которыми брезгали даже гиены: такими они были зловонными.

Гнезда голубых птиц окаймляли маленькие дырки, вокруг которых кружили ядовитые насекомые. Они просверлили не только разноцветную опоку, но и твердые известняки с торчащими во все стороны окаменелыми раковинами. Кое-где обрывы прорезал слой белоснежного, словно жир Горного медведя, камня. Его куски валялись тут же под ногами, поблескивая на солнце полупрозрачными иглами.

...Совсем неожиданно ручей исчез. Русло сузилось и уперлось в огромный рыжий холм. Молодой Пекк остановился в нерешительности. Дальше идти не было смысла. Надо искать другие овраги, другие ручьи, ведущие к глубоким и узким ущельям. Но Старый Бот, который шел впереди, продолжал пыхтеть и неторопливо передвигать уже сморщенными ногами. Его худой зад, опоясанный кожаным шнуром с волчьими хвостами, лоснился от обильно стекающего пота. Вот он сделал еще несколько шагов... и вдруг исчез.

Молодой Пекк остановился, не зная, — то ли кричать ему от страха, то ли бежать к тому месту, где шел Старый Бот. А вдруг тот провалился в Нижнюю Землю, к Нижним людям, ведь он давно хотел, как Немолодой Якке, уснуть Большим-Сном? Там такая же жизнь, но Пекку что-то не очень хотелось отправлять-

ся в обитель заснувших Большим-Сном. Он один из немногих оставшихся в живых сильных охотников племени Настоящих людей.

До новых мест с ним и со Старым Ботом дошли только Крепкий Тука, Арка, Немолодой Якке, Хромоногий Мер и еще несколько... Из Больших рожаящих женщин осталось только семь, включая Великую Мать-Айни. Из Молодых, готовых рожать женщин, — только Тонконогая Дану и Молодая Урулла. Остальные в роду-племени были еще в категории Совсем-еще Маленьких и чуть подросших Будущих-больших людей.

Кто продолжит род, если заснет Большим-Сном он, Молодой Пекк? Будут ли, когда уснет Большим-Сном Великая Мать-Айни, ходить по Верхней Земле Настоящие люди, рожденные Дану, как наследницы славы своей Великой Матери?

Так Молодой Пекк понял свои внутренние слова и не пошел искать Старого Бота. Он повернулся и стал, торопясь, уходить вниз по злосчастному ручью. Но его сразу же окликнул рассерженный голос Старого Бота. Старик стоял на том же самом месте, откуда провалился в Нижнюю Землю, и взмахами руки звал своего спутника.

На этот раз страх сразу же подкосил Пекка. Он рухнул на камни, выронив боевой дротик. Старый Бот приковывал к молодому охотнику, оцупал его шейные вены, успокоился и стал ожидать, когда тот придет в себя. Открыв глаза, Пекк увидел над собой седые пряди волос Старого Бота. Значит, он, как и старик, провалился в Нижнюю Землю! Как же светло в Нижней Земле! Она такая же, как Верхняя. Зачем люди боятся уходить в нее... И Старый Бот не высох в Нижней Земле, как высыхают уснувшие Большим-

Сном... А где же другие, так уснувшие люди, где Немолодой Якке?

— Я в Нижней Земле?

Старый Бот прорычал в ответ что-то непонятное, злое. Потом пинками заставил Пекка подняться. Вновь повел вверх по ручью, где его русло так неожиданно пропадало у подножья рыжего холма, похожего на огромную каменную черепаху. Однако оно, оказывается, и вовсе не пропадало. Пригорок возле холма скрывал неожиданный поворот ручья к обнаженным опоковым глыбам, за которыми скрывался вход в узкое ущелье. Да, ведь, они такое и искали! Пекк взвыл от радости и понял причину исчезновения на его глазах Старого Бота, причину своего внезапного обморока.

Повинуясь инстинкту, Пекк запрыгал в головокружительном танце, подбрасывая и схватывая на лету боевой дротик. Все его тело, каждый мускул на нем выражали восторг. Восторг сильного зверя...

\* \* \*

...Гиена-Испака снова и снова шла следом, хоронясь за большими камнями, грибovidными навесами, гранитными выступами. Она видела все. Когда молодой охотник упал, по телу гиены прошла радостная судорога. Добыча сама шла ей навстречу... Потом она зарычала: старый охотник поднял товарища и увел в узкое ущелье, запертое с одного конца маленьким водопадом.

В ущелье было тепло и сыро. Круто нависли скалы, поросшие кое-где кустарником и стволистой арчой. Гиена вошла в ущелье и сразу почувствовала дух... редкого зверя. Дух с размаху ударил ей в ноздри. Жестко сжался воспаленный от голода желудок.

А двуногие ничего не почувствовали, не насторожились, не приготовились к атаке. Они лишь придирчиво осматривали крутые склоны, небольшой водопад, стекающий с верхней террасы, очертания каких-то зверей на запекшихся под солнцем скальных обрывах. Там едва сохранились от эрозии намазанные красной охрой контуры диких бизонов, горных козлов, оленей, людей, вздымающих руки к небу, или танцующих танец охотника, гривастых львов и солнечных дисков.

Именно здесь Старый Бот с Настоящими людьми, когда был молодым, провел удачную охоту на оленей, загнав их в нутро ущелья и перегородив камнями узкий вход в него. Именно здесь! Племя Настоящих людей в те времена его молодости было большим, очень большим. Еды хватило на всех, и даже соседнему племени Зеленых трав, с которыми они начали после этого дружить. Старый Бот даже помнит, что об этой охоте он сложил песню, которую еще долго, очень долго пели Настоящие люди... А потом он сам взял несколько горстей красной охры, смешал ее с жиром горного козла и нарисовал на Черной Скале каньона себя, горного козла и Гиену-Испака.

— Сюда, после того как Мать-Землю покроет белый мех, загоним оленей, — сказал Старый Бот. — Это хорошее ущелье. Давным давно мы сделали так. Вода и камни нам помогли: не пустили оленей... Надо собрать над обрывами камни... Тяжелые камни ломают ноги оленям...

Пекк почти не слышал слов, сказанных языком Старого Бота. Ему мешало рычание Гиены-Испака. Он оглянулся на нее еще раз и швырнул комок опоки. Но Гиена-Испака не убежала, а только отскочила немного. Потом подползла к огромному можжевельнику и,

выгнув тулово, запрыгала вокруг толстой смолистой ветки. Из оскаленной пасти вырвался приглушенный лай.

Пекк снова швырнул в нее камнем. Гиена-Испака снова не убежала, а еще сильнее запрыгала вокруг ветки, оглядываясь временами на Пекка. В ее подобие лая охотники почувствовали мольбу и призыв зверя. Старый Бот повернулся к Пекку и сказал ему:

— Подойди к Гиене-Испака, она что-то хочет сказать нам...

Пекк прыгнул к Гиене-Испака! Он ненавидел эту кровожадную тварь, всегда готовую на стоянках впитаться в лица спящих детей. Когда он был совсем маленьким, протяжный вой своры этого зверя по ночам заглушал все остальные звуки и в нем просыпался Большой страх. Маленький Пекк забивался под жесткие шкуры, исходил потом, кричал, брызгая слюней до тех пор, пока его до утра не успокаивала Великая Мать-Айни. Утро и Солнце были его друзьями и он улыбался Голубому небу.

А ночи он боялся не только из-за воя стаи Гиен-Испака. Ночь — это дорога в Нижнюю Землю. Ночь — это грохот Небесных гор, сбрасывающих на Верхнюю Землю вместе с огнем невидимые камни и потоки дождя. Ночью он любил только костер. Пока в теплоте пещерных лежанок всхлипывали Совсем-еще Маленькие люди, стонали раненые охотники, а сильные охотники уходили в укромные уголки с могущими рожать женщинами, он наблюдал за неторопливым танцем Матери-Огня и вслушивался в свои внутренние слова. Так много их было у него в голове в такие ночи...

Но когда приходили Гиены-Испака, он забирался под жесткие шкуры... Что за коварные твари с умными глазами...! Вот и сейчас Гиена-Испака мешает им в

охоте. Пекк еще ближе подошел к зверю и третий раз кинул в него кусок опоки. Опока ударила Гиену-Испака по худому хребту, но она еще сильнее запрыгала вокруг огромного можжевельника, царапая когтями бурую кору дерева.

— Уйди! — Пекк принял боевую стойку и вскинул над головой дротик. И вдруг увидел на жестком суку толстого, дикого своим образом, в длинных иглах на спине зверька. Прижав хвост, Дикий-в-Иголках от страха вцепился в твердь дерева. Но дротик сразу же проколол Дикого-в-Иголках насквозь. Когда он упал, Гиена-Испака подбежала первая, вырвала кусок плоти из тела Дикого-в-Иголках и убежала. Остальная плоть досталась Пекку.

Когда Пекк, радуясь, пошел вдоль ущелья, Гиена-Испака снова выбежала навстречу. Вильнула хвостом, словно приветствуя Пекка, а потом кинулась к маленькой расщелине. Громко тьякнув несколько раз, она выгнала из расщелины второго Дикого-в-Иголках. Тот завертелся, растопырив иглы, но Пекк опять сразу же воткнул в него дротик. Потом оторвал от плоти поверженного зверька кусок и бросил Гиене-Испака...

\* \* \*

После того как охотники Настоящих людей вернулись со второй своей охоты у Черной Скалы, у Настоящих людей засветились от радости лица. Охотники: и Старый Бот с Пекком, и Крепкий Тука с Арком, принесли несколько толстых тушек зверьков, которых называли Дикими-в-Иголках.

Тонконогая Дану с подружками сразу же выпотрошила тела игластых зверьков и бросила в обмазанную глиной очажную яму, где уже дотлевали толстые сучья.

А Великая Мать-Айни тоже не просто сидела на высокой ступе в пещере. В этот день она увидела на краю речки, протекавшей вдоль ущелья, старое ласточкино гнездо и стала тоже обмазывать его красноватой глиной, которую Настоящие люди бросали в яму, вырытую для уснувшего Большим-Сном Немолодого Якке.

Потом обмазанным красной глиной и подсохшим ласточкиным гнездом Великая Мать-Айни несколько раз зачерпывала речной воды и приносила в пещеру напоить Будущих-больших людей и совсем еще малышей. В последнюю ходку вода в обмазанном красной глиной гнезде осталась, так как никто из Будущих-больших людей и совсем еще малышей уже не хотел пить.

Тогда Великая Мать-Айни поставила вымазанное глиной ласточкино гнездо в дотлевающий очаг, в котором жарилась плоть иглообразных зверьков, добытых охотниками. Один кусок плоти незаметно выпал из перекладки через очаг, случайно попал в ласточкино гнездо, где уже от жара из очага вскипала речная вода. Великая Мать-Айни собралась выплеснуть оскверненную воду, но прежде сделала маленький глоток жидкости, помутневшей от колец жира.

Вкус мутной горячей воды вначале уколол сжимающийся от голода желудок, но через мгновение ошеломил ее! Он был настолько приятным, что Великая Мать-Айни сделала еще один глоток. Потом еще один. Потом дала попробовать жидкость из обмазанного глиной ласточкиного гнезда Тонконогой Дану. Потом ее попробовали Будущие большие люди и Совсем-еще малыши.

Мутная вода была восхитительна! Она с каждым глотком утоляла голод, придавала силы, а с куском поджаренной плоти игластых зверьков — была по вкусу умопомрачительна...



Тонконогая Дану принесла в обмазанном красной глиной ласточкином гнезде еще речной воды и, бросив в нее новый кусок плоти иглообразных зверьков, поставила на тлеющие ветки очага. И снова после кипения получилась мутная вода с плавающими в ней жирными пятнами. И снова Настоящие люди отпивали ее глотками и цокали от радости языком.

Но самый радостный крик издала Великая Мать-Айни. Ее крик расколол задымленный мрак пещеры, вырвался наружу, испугнул со скал даже больших птиц с бело-грязным оперением и с голой шеей, но насторожил Гиену-Испака. Вместе с Великой Матерью-Айни закричали Будущие-большие люди и Совсемеще малыши. Настоящие-женщины, которые готовились к родам, завывали от сытой истомы. Они пили чуть остывшую мутную воду жадными губами, потому что никогда не пили такую вкусную воду.

А пить они воду, подобную вкусом мутной воде, хотели всегда, когда чувствовали под сердцем толчки новых зачатых жизней. Даже Старый Бот сегодня ел больше, чем делал это накануне, собираясь вслед за Немолодым Якке уснуть Большим-Сном.

Не рожавшая еще никого Тонконогая Дану радовалась, как все, хотя мутная жидкость ей, все-таки, не совсем нравилась. Когда она по очереди делала глоток, то вспоминала вкус Белого камня, который однажды лизнула, увидев его в руках Пекка. Вкус этого Белого камня был необыкновенно острый, но его хотелось облизывать еще и еще.

Вспомнив это, Тонконогая Дану спросила у Пекка, который грыз жареный кусок плоти иглообразных, есть ли у него тот Белый камень, который видела Тонконогая Дану. Пекк покрутил свой пояс, вывернул камень и протянул Тонконогой Дану. Она лизнула его и

сделала глоток мутной воды. Потом еще и еще раз, пока камень не выпал в гнездо, обмазанное красной глиной. Все ахнули, но потом снова стали осторожно отпивать из гнезда мутную воду. Вкус ее стал невыносимо притягательным.

Вскоре мутную жидкость выпили всю до капли, а после радостных танцев уснули в разных уголках пещеры, оставив сторожить ее Пекку и Будущим-настоящим женщинам...

В самой пещере маленький сон Настоящих людей, как всегда, охраняла Великая Мать-Айни. Она кормила огонь и грустно глядела на спящих. Половину из них родила она...

Великая Мать-Айни рожала каждое лето. Ее сильные груди всегда были полны молока. Его пили и Будущие-большие люди, и совсем только что народившиеся маленькие, и раненые, и больные. Даже Молодые охотники, когда им не хватало еды, жадно припадали к ее большим и теплым источникам жизни.

В знак благодарности за это Старый Бот вырезал однажды маленькое подобие Великой Матери-Айни на обломках кости убитого носорога и старался не терять в далеких переходах от стоянки к стоянке, от пещеры к пещере. Даже сейчас хранил это маленькое подобие в укромном уголке у Черной Скалы.

Подумав внутренними словами об этом, Великая Мать-Айни вдруг тихо заплакала. Может быть, от вида сытых и безмятежно спящих под мягкими шкурами Настоящих людей, а, может быть, по какому-то другому поводу. Она вспомнила детство и брошенные пещеры, цветы, которые росли в большой чистой впадине. Девчонкой она сама пахла цветами, пока не переспала первый раз со Старым Ботом.

Эх, Старый Бот, рано ты засобирался уснуть Боль-

шим-Сном, говорила она себе внутренними словами. Надо охотиться, еще и еще говорила себе Великая Мать-Айни. Надо собирать травы, коренья, рожать вместе с женщинами детей. Надо ходить по Верхней Земле и любить Плоскогорье, ручьи, мутную воду, вскипевшую вместе с куском мяса. Надо биться с врагами — двуногими и четвероногими. Надо жить! Ведь прекрасна Верхняя Земля, которая кормит Настоящих людей! Сладостны мужчины, которые умеют крепко обнимать. Сладостны женщины, которые хотят родить!

\* \* \*

...Великая Мать-Айни была еще крепкой женщиной. Она умела рожать каждую зиму и рожденные ею дети все выживали. Они становились ловкими охотниками, сильными мужчинами. За рожденными ею охотниками шли молодые женщины окрестных родов. Вот почему Айни назвали однажды Великой Матерью. Вот почему Старый Бот сотворил ее тело из крепкого куска кости и спрятал в укромном месте.

Настоящие люди не знают, где это место. А Великая Мать-Айни знает. Она видела как к нему каждое утро ходит Старый Бот, встает на колени и проговаривает языком какие-то внутренние слова... Недавно об этом месте узнала и Тонконогая Дану. Может быть, рожденные ею, тоже назовут ее однажды Великой Матерью-Прародительницей...

Так думала этим ранним и светлым утром Великая Мать-Айни...

1974 г.

## **СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ЧЕЛОВЕК ВСЕХ РЕЛИГИЙ ИЛИ СОЛНЕЧНЫЙ СУФИЙ**

*(фрагменты недописанной повести)*

### **Ущелье Великого Михр-Митры**

**...З**а бесчисленные тысячелетия ущелье почернело, как чернеет запущенная рана от удара дамасской сабли. Разрывая с юга на север отроги Каратау, пытаясь северным краем пробраться к теплым барханам Кызылкум, оно успокаивалось от кишлачной суеты лишь в полночь. И только в полночь, а потом и под утро, в холодном свете нависшей луны вновь оживали в нем загадочные тени на отполированных солнцем скалах. И только в полночь, а потом ранним утром, они начинали разговаривать с потомками тех, кто выбил их когда-то на черных песчаниках, чьи души-фравашы, утверждая благую истину, уже витают в космических глубинах Ахура-Мазды, в необъятном небесном эфире Михр-Митры, Яхве, Иисуса Христа и Аллаха...

Думая об этом именно так, Шамс старался не пропускать первые лучи утренней зорьки, обнажающей мироздание, и когда заселенный охотниками и дехканами-садоводами кишлак только-только начинал сбрасывать с себя темную пелену ночи быстро уходил к скалам. Он уходил к скалам,

когда чабаны еще не выкрикивали свои команды стадам, а женщины только приступали к утренней дойке. Зачерпнув ладонью, а потом испив глоток кристальной влаги из протекающего вдоль скал ручья, Шамс пробирался по узким тропам ущелья к сверкающим от лучей восходящего солнца плоскостям, чтобы попасть в мир этих таинственных теней.

Он пробирался к полированным скалам, чтобы совершить рядом с ними утренний намаз и перенестись мыслью в глубины светлеющего неба. Он пробирался, чтобы попытаться в этих глубинах отыскать ответ на давно мучивший вопрос: а что же есть жизнь и человек в ней, для чего создан он небесным владыкой, и как обрести счастье в короткие мгновения данного тебе бытия?

Раньше ущелье, где находился его кишлак, где ранним утром в тяжелых муках родила его мать, называли ущельем-урочищем дикобразов. Так говорил ему в детстве, ссылаясь на память предков, дед Абу-л Фатх, считавшийся в кишлаке мудрейшим из суфиев Мавераннахра. То есть, мудрейшим в междуречье Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. А когда Шамс родился, во всем Мавераннахре ущелье именовали уже Сармышсаем, то есть ущельем-урочищем солнцеликого зверя кошачьей породы.

И было отчего: в северной кромке Заравшана, слева и ниже Нуратинского хребта, на крутых и отполированных солнцем скалах в незапамятные времена была выбита упругая фигура могучего льва с пылающей огненной короной вместо ниспадающей гривы. Солнцеликим львом, Шам-шером, Шам-арсланом, так иногда этого льва называли жители Сармышса. Но его, родившегося от земной матери, называли не Шам-шером и не Шаманом, как предки называли самого

выдающегося среди них солнцепоклонника и мага, а Шамсом — именем зороастрийского Светоносного ангела, несущего знание людям. И когда дед его, Абу-л Фатх, смотрел на поднимающееся над ущельем раскаленное светило, он просил пылающую пламенем корону ниспослать внуку счастливую судьбу и неистребимую жажду знания. А потом дед его, Абу-л Фатх, приносил к скале с солнцеликим львом лепешку из багарной пшеницы и начинал петь, насколько помнил, старинные гимны, посвященные жаркому в пламени Солнца богу огня.

А начинал дед его, Абу-л Фатх, петь большой гимн богу огня и Солнцу, как запомнил его и сам Шамс, следующими стихами: «Агни почтите, люди, возлиянием и песней протяжной! Почтите Его, зажегшегося, полного жертвенных услад. Солнечного мужа почтите... Словно возница неба — сквозь людские поколения светит Он, сквозь непрерывные ночи. О, обладатель многих избранных даров! Его, чудесного, на дне пространства боги определили возницей неба и земли! Знаменитого, как колесница, чистопламенного Агни, которого надо прославлять среди народов, как Митру...Златоусый, бурлящий в растениях, Он на блюде за двумя мирами, словно небо — с помощью звезд. Зажженный, дай нам богатство на счастье! Погаснув, дай нам богатство и снова воссияй среди нас! Привлеки к нам на благо оба мира, чтобы они приняли благосклонно жертвы человека!».

А потом дед его, Абу-л Фатх, молился Аллаху. А вслед за ним он молился небесному Михр-Митре, которого предки выбили на скалах с львиной головой, идущего рядом с покровительствуемой им женщиной. А после Михр-Митры он молился астральному Ахура-Мазде, которого тоже просил уподобить внука Аш-

Шамсу, то есть — самому Солнцу. А если не Аш-Шамсу, то просто Шамсу — Светоносному ангелу Солнца. Или, хотя бы, Шамс-ад-дину — Хранителю солнечной веры, да простит его за это всемогущий Аллах...

И Аллах прощал деда его, Абу-л Фатха, потому что вслед за своими просьбами он, вознеся ладони, произносил семь аятов из Аш-Шамса, девяносто первой суры Корана, в которой Аллах тоже клялся Солнцем и его обширным сиянием, и Луной, когда она следует за Ним, и днем, когда Он являет Его свет. И заверял дед Всевышнего, что хотя эти же клятвы далекие его предки произносили Михр-Митре и Ахура-Мазде, в их лице они имели в виду только Его, Аллаха. И только Он, Аллах, именно Он, достоин наивысшего поклонения. Ибо наряду с Ним уже нет, и не было столь всемогущего божества! Ибо сейчас только Он являет Свет и свое всеобъемлющее знание, и свое могущество над Луной и Солнцем, над Днем и Ночью, над всеми, кто уже вознеся, и кто под ними.

А еще Аллах позволял деду учить внука Шамса искать тараку — путь в Страну Знаний и понимать Авесту, а также названия дней и недель огнепоклонников. И позволял Аллах ему, чтобы внук его, Шамс, нареченный именем Светоносного ангела, ориентируясь во временном поле, мог читать священные гимны, в особенности гимны-гаты самого Заратуштры, которого по поручению Великого Аллаха благословил к знанию в образе непрерываемой субстанции неба сам Ахура-Мазда. И каждый раз дед его, Абу-л Фатх, начинал свою учебу следующими словами:

— Без понимания того, о чем я хочу поведать тебе сегодня, ты пойдешь по Стране Знания, словно по туннелю кариза, вслепую. А я хочу, чтобы ты шел по тропе, освященной Солнцем науки.

И когда дед начинал обучать его пониманию дней и недель предков его, огнепоклонников, — каждый раз он требовал сразу же повторить наизусть урок, данный ему. И Шамс сразу же повторял, что услышал от деда здесь и сейчас:

— Великий Зурван, кому Аллах доверил охранять время, повелел так: пусть будет день первый нового месяца — днем Ахура-Мазды. Второй — днем Воху Мана, благого помысла. Третий — Аша-Вахишта, лучшего проводника. Четвертый — Спента-Армайти, святого благочестия. Пятый день — днем Хшатра-Ваирийа, желанной власти. Шестой — Хаурватата, днем целостности. Седьмой — Амэрэтата, он называется днем бесмертия...

— Запомни, — останавливал словами дед его, Абу-л Фатх. — Так и в такой метафоричности понимали дни и недели наши далекие предки. Они поклонялись огню и небу. И это должен понимать ты, чтобы знать дни и недели, прожитые твоими предками. Запомни, все перечисленные тобой зороастрийские имена-символы суть одной мысли, одного слова, одного действия... Запомни, они видят души друг друга, думая о благих мыслях, думая о благих словах, думая о благих делах. Запомни, они твердо жили в памяти наших предков, которые еще не знали Аллаха, Яхве и Христа. Запомни, они были творцами, создателями, делателями и защитниками. Запомнил?

— Запомнил, мой дедушка.

— Продолжай.

— Вторая неделя начинается днем Дадва. За ним идут день Огня, день Вод, день Солнца, день Луны, день Тиштрийя и день Гэуш-Урван, бычьего духа.

— Запомни и это!

— Запомнил, мой дедушка.



— Да будет Аллах милостив к тебе! И к тем, кого ты цитировал! А теперь ответь, что есть сам Тиштрийя?

— Святой белый, небесный конь Сириус.

— Продолжай...

— Пятнадцатый день — второй день Дадва. Он рождает день Митры, от него рождаются Сраош и Рашну, Фраваша, Вэрэтрагна, Раману, Вата...

— Запомни и это!

— Запомнил, мой дедушка.

— Что есть Фраваша, теперь ты ответь мне?

— Это существовавший и существующий Благой дух всего, что сотворил Ахура-Мазда. Это элемент сущности рожденного в этом мире и ушедшего в мир иной. Фраваша незримы. Они помогают каждому выйти на путь Благой Истины-Аши. Они включают в себя все, что было и все, что будет. Они утверждают в телесном мире добро и борются со злом...

— Хорошо! Вот мой наказ: читай признания пророков и мудрецов, слушай, расспрашивай, узнавай. Нет людей, которые знают все. Но нет людей, которые ничего не знают. На сегодня хватит, иди! А я помолюсь Аллаху. Я попрошу отпустить ему грехи мои на пути познания истины.

После этих слов дед его, Абу-л Фатх, вставал, опираясь на суковатую палку, и медленно уходил в свой угол в пещере, где он давал ему уроки. В глубине карстовой полости он приседал на ворох цветных одеял и долго-долго повторял про себя священные суры Корана...

\* \* \*

Таким и запомнил Шамс деда своего, Абу-л Фатха, который воспитал его после смерти дочери, родившей внука. И он воспитывал его после смерти

Абдель-Галима, отца Шамса и славного бухарского нукера, погибшего в тот год, когда монголы, обойдя караванные тропы, по Аяккудукской впадине неожиданно ворвались в священную Бухару. Отправившись потом в Самарканд, монголы пленили по дороге вначале деда его, Абу-л Фатха, и самого Шамса, как пленили и угнали в Хорасан четверть жителей Сармышсая. Но узнав, что его дед известный суфий, что он знает, кто такой небесный громовержец Тангри, которому они поклонялись, монголы отпустили восвояси и деда и внука.

После этих событий дед его, Абу-л Фатх, написав внуку «Хатти иршод» — грамоту на право наставничества в суфийском ордене, тоже ушел к Аллаху... И теперь ишаном, учителем и предводителем всех отшельников Сармышсая остался он, молодой Шамс, потомственный суфий, которого не только по солнечному имени начали вскоре звать Солнечным суфием. А потому что в этом тесном ущелье прославился он светом учености своей, знанием правил и благолепий. А еще он прославился светом надежды, наполнявшим его проповеди, искусством лекаря и верностью предкам. Любовью к их начертаниям, оставленным на полированных солнцем скалах угрюмого Сармышсая, прославился он тоже.

...А еще он прославился постоянством каждодневной церемонии, которую совершал утром перед таинственными изображениями на черных скалах урочища. Даже после того как кишлачный судейский чиновник-кадий пригрозил написать о его еретических церемониях и молитвах высокочтимым эмирам Бухары и Нишапура, он совершал их. И поклонялся тем, кому поклонялись его далекие предки. И поклонялся Аллаху за прощение, оказываемое ему за это. И за то,

что Аллах являл ему свое всеобъемлющее знание о прошлом и будущем.

И он стоял каждое раннее утро перед теми, кому еще, не зная Аллаха, поклонялись его далекие предки. И возносил руки к Солнцу, чьи лучи освещали выбитого в скале Митру и Нарасинха — Человека-Льва, идущего рядом с матерью-прародительницей в травяной юбочке. И возносил руки к Солнцу, чьи лучи сверкали гривой солнцеликого льва и высвечивали в черноте скал расчерченные в клетку силуэты первобытка Пуруши, принесшего себя в жертву ради создания мира:

— Смотрите, о люди, кому вы, кроме Аллаха и Солнца, обязаны жизнью в мироздании этом, — возглашал каждое утро Шамс. — Смотрите и пойте, как я, — возглашал он. — Ригведу пойте, которая восхваляет его такими словами: «Пуруша — тысячеглавый Ты, тысячеглазый, тысяченогий. Со всех сторон покрыв землю, Ты возвышаешься над ней еще на десять пальцев. Пуруша — Ты и есть Вселенная, которая была и которая будет... Когда Тебя расчленили, Луна из Твоего духа была рождена, Солнце из глаз Твоих родилось, из уст — Индра и Агни, из дыхания родился ветер, и так устроились все миры...».

И, повторяя эти слова, он добавлял для своих учеников-мюридов, стоящих с ним рядом, свои комментарии. И объяснял, что так думали до знания Аллаха их далекие предки.

И, стоя в позе адорации с вознесенными к небу руками, он молился Аллаху, а потом Тиштрии, которого его далекие предки изобразили в виде гордого белого жеребца, олицетворявшего Сириус, и сражавшего с черным жеребцом Апаошем с облезлым хвостом. И говорил он, Солнечный суфий Шамс, что этот Апаоша был

демоном засухи. А Тиштрия, говорил он, направился к морю Воурукаша, чтобы взять для людей воды. Но демон засухи преградил ему путь. И началась смертельная битва!

И Тиштрия, которому тоже поклонялись давно ушедшие предки, победил Апаоша! И поднявшись на небосвод, поднял Тиштрия-герой волею Аллаха небесные волны, а потом послал на землю долгожданный дождь, и запел гимн: «Благо, воды и растения! Благо, вы, страны! Каналы вод вам да текут без помехи к посевам с крупным зерном, к травам с мелкими семенами».

И, повторяя эти слова, Солнечный суфий переходил ранним утром к другой скале: и снова возносил руки к космическим глубинам, и молился теперь уже Светоносному ангелу, в честь которого был сам наречен.

А потом он переходил к скале, где были выбиты посвящаемые в митраистскую ступень Льва семилетние мальчики, или же маленькие участники зороастрийской церемонии посвящения в новую возрастную группу-навджот. Облаченные в львиные маски, эти мальчики, радуясь, исполняли танец. И были обмотаны они вместо пояса петушиными потрохами, которые дед его, Абу-л Фатх, называл Гаус-ул-А'зам — величайшим мистическим поясом. В молодости его рассказал ему об этом сам шейх Джилани, который основал орден Кадырия.

И Солнечный суфий Шамс возносил руки к космическим глубинам, и молился фравашам посвященных, в возрастную ступень Льва, которую учредил Митра, и благим душам тех, кто участвовал и участвует в зороастрийских церемониях навджот.

А потом Солнечный суфий Шамс переходил к другой скале. И возносил руки напротив выбитого на по-

лированном сланце Солнечного ковчега, похожего на капсулу с двенадцатью лучами. И, глядя на ковчег, теперь он молился Сурьи, дочери Солнца, и его Сияющей супруге Прабхавати, и богине восточной зари Ушас... Ибо одну из них выбили на скалах Сармышшая его далекие предки. Ибо одна из них находилась в выбитом в скале ковчеге, который, стоя на перекладине, натруженными руками поддерживали Насатьи-колесничие, рожденные из носа кобылы Саранью. А всадники-близнецы Ашвины, как называл их Абу-л Фатх, дед Шамса, изображены сидящими ниже на спине солнечного коня, поддерживая и капсулу, и колесничих. А ниже и сбоку ковчега-капсулы были выбиты контуры фигур жителей его кишлака, которые принесли жертвы и пели гимны.

И Солнечный суфий Шамс, насколько позволяла память, знал эти гимны, и он повторял их, как повторял когда-то дед его, Абу-л Фатх, и его прадед, и все живущие раньше в этом мрачном ущелье. А слова в этом гимне, насколько он помнил, были такие: «Эта дочь неба явила себя, ярко пылающая юная женщина в светлых одеждах. Повелевая над всем земным добром, зажгись здесь сегодня, о, счастливая Ушас! О, счастливая Сурья! О, счастливая Прабхавати! Идут они вслед за толпой минувших зорь, ярко пылая, поднимая живое, но, никогда не пробуждая мертвого. Нестареющие, бессмертные, странствуют они по своим законам. Они сверкают утром украшениями на пороге неба. Приезжают на колеснице, в которую легко запрягать солнечного коня Читрашву...».

А выбитые на скале контуры приносящих дары его далеких предков держали в руках ягненка, мотыгу-кетмень и стояли рядом с прессом для выжимания священной амброзии и соомы. И такие же дары, подносимые на

скальном изображении в одном лице и Сурьи, и Ушас и Прабхавати, подносили по просьбе Солнечного суфия Шамса все жители урочища Сармышсай. Но только весной подносили они эти дары, в начале нового дня-ноуруза. И только летом, когда засуха грозила уничтожить весь будущий урожай. И только тогда, когда ручей, протекавший по дну ущелья, начинал высыхать до последней капли.

...И после пения гимнов своих далеких предков и молитв великому Аллаху уходил он, Солнечный суфий Шамс, в пещеру, которая в лессовых берегах была создана волею Аллаха для тех, кто хочет войти в Страну Знаний. Он уходил в пещеру, где жил уже несколько лет после смерти деда своего, Абу-л Фатха. И он наполовину заполнил ее переплетенными и непереpletенными листами самаркандской бумаги, а также папирусными свитками с трудами знаменитых мыслителей и толкователей-мударисов. Часть свитков и фолиантов мудрецов и мударисов осталась ему от деда его, Абу-л Фатха, а часть он выкупал на собранные подаяния у купцов, идущих караванами из Нураты и Кармана, Самарканда и Бухары.

В пещере, открывающей Сармышсай, Солнечный суфий Шамс пробил в лессовых стенах многочисленные ниши, в которые после прочтения укладывал фолианты великих. А в Бухаре уже говорили, что Солнечный суфий Шамс уподобился любознанием и собирательству книг самому Ас-Сахибу, жившему восемь поколений до него и отказавшемуся от должности визира, предложенной саманидским правителем. А причина была вот такая: для переезда в Бухару ему пришлось бы заказать четыреста верблюжьих вьюков для собранных им книг и столько же верблюдов. А без книг в Бухаре он бы от тоски умер...

Так думал о жизни без книг и Солнечный суфий Шамс. Поэтому, знакомясь при дневном свете на предпещерной площадке с раздобытой новинкой, он вносил в пещеру для сохранности и передачи будущим поколениям все новые и новые труды мудрецов. Но не выносил из нее ни одного фолианта или свитка. А собратья суфии соорудили ему дверь для входа в пещеру, которую, уходя на молитву к скалам или в краткие путешествия по Мавераннахру, запирали он особым ключом. А когда он уходил со своими собратьями по ордену в междуречье, посещая непременно Бухару или Самарканд, он тосковал по своим молитвам у скал Сармышса, и тосковал он по стопкам манускриптов в своей небольшой пещере. Но собратья по ордену заглушали его тоску, преподнося очередной фолиант какого-нибудь мудреца.

И годы спустя Солнечный суфий уже сам стал известным мудрецом в Мавераннахре и в Хорасане. И прославился он своими молитвами и разговорами с тенями прошлого. И комментариями Авесты, Ригведы и Махабхараты прославился он. И любовью к стихам Хайяма. И любовью к врачебной науке Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Сины, который написал 450 книг по 29-ти отраслям науки.

И его, Солнечного суфия Шамса, стали узнавать в селениях и в рабатах, где делали передышку купцы, где поили водой из сардабы погонщиков и верблюдов, где разгружались из Балха и Бухары караваны. А когда он бывал в Самарканде, или же в Бухаре, или же в Мерве, или же в Нишапуре, купцы дарили ему за мудрые наставления не только книги, но и платья и деньги, которые Солнечный суфий передавал собратьям по ордену или в мечети.

Везде, где бы ни был Солнечный суфий, к нему об-

ращались с просьбой не только проповедовать, но излечить недуги, которыми страдали просящие. В большинстве случаев приходили к нему из знати и простонародья. И он лечил их травами, которыми советовал лечить Абу Али Хусейн ибн Абдуллаах ибн Сина в своей Книге Исцеления, которую назвал Китаб-аш-Шифа.

И он лечил их словами, советами и наставлениями. А послушники Митры, Зурвана и Яхве — прихожане, паломники и насельники рабатов стали вскоре стараться коснуться его, чтобы получить благочестия, славил его деяния, утверждая, что никогда им не удавалось видеть столь совершенного странствующего суфия.

Но однажды, вернувшись в Сармышсай из очередного путешествия, Солнечный суфий был поражен Молнией боли, когда увидел свою разграбленную и опустошенную пещеру. По приказу судейского чиновника-кадия аскеры, прибывшие из Нураты, за богохульство Солнечного суфия Шамса выбросили на предпещерную площадку все собранные им фолианты мудрецов и все их свитки, а потом сожгли их... И Солнечный суфий был поражен Молнией боли... И несколько месяцев под присмотром верных учеников пролежал он на лессовой супе, но выжил, хотя и просил Аллаха забрать его душу к себе, на небеса. Аллах не забрал его, Солнечного суфия Шамса, на небеса и он выжил. И через несколько месяцев он окреп. А потом он встал и ушел из Сармышсая, оставив в пещере грубый суфийский плащ-хирку, остроконечную шапку-кулах и чашу-кашкуль для сбора подаяния.

И больше уже не видели Солнечного суфия Шамса в Мавераннахре.



## По дороге на Хорасан

...И, перейдя вброд Зарафшан, взошел он, Солнечный суфий Шамс, к пещере на горе Трик-бобо, в которой, по преданию его предков, родился сам Михр-Митра. И молился там без воды и пищи несколько дней Всевышнему Аллаху и его слуге небесному Михр-Митре. А потом он прошел Кармана, где процветали такие науки, как логика, богословие и составлялись ученые словари. Потом он прошел мимо пахсовой стены Кампир-Девора, окружавшей Бухарский оазис, мимо фортовых укреплений Абумуслим-тепа, Буронтепа, мимо Барбарай-шахар и больших крепостей Хазара и Шахри-Вайрон. А потом он пошел в Хорасан, провожаемый толпами поклонников и ненавистников, потому что они и без власяницы и суфийской шапки-кулах узнали его.

В Шахри-вайроне стоял он на коленях и долго молился душам-фравашам ушедших в мир иной поселенцев разрушенного и разграбленного монголами города, который когда-то был Тавависом. И душам проданных на его невольничьем рынке рабов молился он. И душам мастеров-кулагаров, чьи гончарный изделия прославили во всем Хорасане Бухарский оазис, молился...

А в Дег-гароне, который стоял на полпути от Кармана до Бухары, где жили гончары, изготавливающие котлы, остановился он, чтобы пополнить силы свои. И там он познакомился с Шайдои, одержимым любовью поэтом и исполнителем восточных мелодий-макомов. И откликнулся он на приглашение посетить его дом. Ибо имя его, как и имя самого Солнечного суфия Шамса, было известно далеко за пределами Мавераннахра. Ибо одержимого любовью и музыкой Шайдои,

как и его, одержимого тенями предков Солнечного суфия Шамса, преследовали мусульманские ортодоксы и судебные чиновники Хорасана.

И вдвоем с Шайдои они долго молились Аллаху за спасение их душ, а потом рассуждали о самоуправстве времени, которое разрушило там, где они молились, храм огнепоклонников, а потом самоуправство времени разрушило храм последователей Нестора. И об этом самоуправстве говорили им россыпи керамики — осколки, бывшие когда-то котлами и хумами. И об этом говорили им христианские трилистники на пиастрах колонн, и изящная роспись стен куфическими текстами и аятами из Корана.

...Перед вечерним намазом Шайдои сыграл ему на тонкозвучном сазе, после чего Солнечный суфий почувствовал, как тяжесть в груди его, которая легла еще тогда, когда он в Сармышсае был поражен Молнией боли, почти сошла, и вздохи его и выдохи снова стали легки. И он сказал влюбленному поэту и сочинителю макомов Шайдои об этом. А потом Солнечный суфий Шамс с почтением и вниманием слушал слова Шайдои о его творческих порывах, о том, как музыка помогает открывать двери в ту сокровищницу его души, к замку которой не подходит ни один ключ. И он, Шайдои, безумный от любви поэт и сочинитель мелодий, рассказал ему о том, как знания музыкальных ладов открывают путь к вершинам виртуозности, куда пытаются взобраться ученики его, но так еще не взобрались они.

— И говорю я ученикам своим вот что, — тихо перебирая струны саза, продолжал Шайдои: — коль вы не знаете, сколько основных ладов и сколько производных, значит, вы ничего не знаете. И если вы не знаете, сколько индийских ладов складывается в один персид-

ский и сколько индийских ладов можно произвести из одного персидского, — вы тоже ничего не знаете. И если вы не можете отличить мужской лад от женского лада, и если вы не ведаете, сколько мужских ладов можно преобразовать в женские, вы тоже ничего не ведаете. Если один лад будет смешан и соединен с другим, слушатель не испытает удовольствия от такой музыки. Поющему под такую мелодию не будет услады от такого пения, а мне, говорящему, — одно горе...

И Солнечный суфий Шамс прервал его вопросом:

— Я слушал в Сармышсае, где был поражен Молнией боли, одного исполнителя шаш-макомов. Они сейчас входят в моду. Известны ли тебе особенности макомов?

— И это мне известно, почтенный ишан всех суфиев Сармышсая. Макомы — это мелодии человеческих судеб, распаивающие грудную клетку и обнажающие сердце. В благородной Бухаре, куда вы держите свой путь, макомы состоят из шести циклов: бузрук, рост, наво, дугох, сегох, ирок. Все они начинаются в низком регистре, а потом взлетают, а потом достигают «ауджа» — развернутую кульминацию, — и снова отдают себе во власть исходных низких регистров. А каждый маком состоит из 20—40 инструментальных и вокальных частей... Позвольте мне после этих слов продолжить разговор мой, начатый про специфику мелодий и музыкальных ладов. Вы не дали мне договорить, поинтересовавшись макомами, почтенный ишан всех суфиев Сармышсая.

— О, конечно, учитель... Ведь ваши знания — ворота в рай!

— Я продолжу рассказ о ладах, и вы, почтенный, должны знать, какие мелодии влажны и какие сухи, какие горячи и какие холодны, как гиссарский лед. А если вы не ведаете все это, удел ваш известен. Вы ни-

чего не будете ощущать, слушая музыку, внимая напевам. И не будете вы волноваться, как волнуются истинные поклонники мелодий! А волнуются они как юноши, впервые дотронувшиеся до низа живота женщины. До их раскрытой ферджи впервые дотронувшиеся. И послушайте меня: у всякого, на кого музыка так не действует, расстроено здоровье, и он нуждается в лечении. Уж это, я вас заверю, истинно так. Это истинно. Это неоспоримо.

И Солнечного Шамса смутили и потрясли эти слова о расстройстве здоровья у тех, кто не волнуется от звучания музыки, как волнуются от плотской любви к женщине. Потому что он знал, что музыка на него так не действует, ибо он никогда не дотрагивался до низа живота женщины, хотя это и не было запрещено суфиям. И вообще, — он, Солнечный суфий Шамс, до сих пор не уверен, стоит ли мусульманину слушать песни и мелодии. А пришел к Шайдои, потому что он, как и сам Солнечный суфий, гонимый, а Солнечный суфий Шамс дал клятву Аллаху, что всегда будит на стороне гонимых.

Но сейчас Солнечный суфий Шамс решил возразить Шайдои вот какими короническими аргументами:

— Пророк сказал: «Разве вы полагаете, что мы сотворили вас для забавы и что вы к нам не вернетесь?». А еще он сказал: «Пение возвращает в сердце лицемерие! И «Тот, кто сядет перед певицей, и будет слушать ее, Аллах в судный день наполнит того уши свинцом».

И тогда Шайдои, отставив в сторону саз, задумчиво отвечивал Солнечному суфию Шамсу:

— Почтенный ишан всех суфиев Сармышса, Сахих Аль-Бухари, наш земляк, собравший самые достоверные сведения о пророке, да благословит его Ал-

лах, свидетельствует одним из хадисов, что Посланник Аллаха сам слушал пение девушек! Когда однажды он пришел домой к своей любимой жене, Айше, у нее находилось две девушки, которые пели. Затем вошел Абу Бакр, отец Айши и дядя Посланника Аллаха. Обращаясь к Айше, он вскричал: «Дудка шайтана в доме Пророка?». Тогда Посланник Аллаха обернулся к нему и сказал: «Оставь их».

Солнечный суфий Шамс знал этот хадис, и знал он, что ислам разрешает исполнение песен и мелодий во время праздников, на свадьбах, при сожалении, при одиночестве, во время оплакивания, при исполнении стихов, если в них содержится мудрость. И на все это существует доказательство из сунны.

Но он, Солнечный суфий Шамс, не принимал, и никогда не примет, например, кривляния под звуки тамбуринов суфиев из ордена каландаров. Никогда не примет он исступление суфиев из Ферганы, падких под музыку заниматься любовью с женщинами и мальчиками. Поэтому, вернувшись к словам Шайдои о том, что у всякого, на кого музыка не действует возбуждающе, расстроено здоровье, и он нуждается в лечении, Солнечный суфий Шамс сказал:

— Многие люди обделены здоровьем. И не на всех музыка, как женщина, действует возбуждающе. Но кому ниспослано это, тот не использует волнение сердца для совершения благих дел, а использует для совершения грехов. Только воздержание-зудх спасает человека от соблазнов и подвигает его на свершение благих дел.

А Шайдои, задумавшись, ответил Солнечному суфию Шамсу:

— Ценю суфиев, кто верен подлинному аскетизму-зудх. Они отбивают поклоны за нас. Они роют пещеры

по склонам холмов-адыров. Таким, сказали мне, был Мухаммед ал-Буси, да помилует его Аллах. Я не знаю больше, подобных ему. Он не пил воды, он не ел хлеба. Он разговлялся гранатом или двумя яблоками. Но он был избран пророком и знал, почему несет эту свою долю. А что толкает на это таких, как вы, Солнечный суфий Шамс? Что толкает на это тридцатилетних? Они боятся плоти... Они боятся песен... Они истощают себя, чтобы прах не смердил в этом мире. Но они смердят, затыкай нос....

А Солнечный суфий Шамс ответил:

— Они идут по следам истины, чтобы вознестись с ней в небеса, почтенный Шайдои.

— Они уйдут в небеса, не познав жизни, не познав любви и не познав страсти! Не нами сказано, что любовь — это вода жизни. Влюбленные — это огонь души. Вселенная начинает кружиться иначе, когда огонь влюбляется в воду. И еще: влюблённые ближе к небу, чем аскеты, а бранные останки аскетов, да простит меня Аллах, будут кричать миру: «радуйтесь, радуйтесь, пока вас не зароят, пока не затопчут...».

— Не избег рождения, не избежишь смерти. Не в том суть явления нашего в этот мир.

— А в чем она суть, в чем?

— А в том, чтобы открыть Страну Знаний, созданную предками нашими... А в том, чтобы в этой Стране Знаний хранить священные ключи памяти... А в том, чтобы не замыкать душу и тело свое в грешной келье любви и страсти...

И на этом они закончили свой диалог, и каждый был смущен доводами другого, и каждый признал, что довод другого зародил в нем ростки сомнения... Когда же над Дег-гароном встало яркое солнце, Солнечный суфий Шамс отправился в благородную Бухару.

Близ кишлака Соктари он посетил Гариб-Мазар, кладбище для странников, умерших на чужбине, и сказал местному шейху, что кладбища — это поля, усеянные черепками людских надежд, и лучшие места для уединения и раздумий. От шейха услышали эти слова суфии-карабийцы, которые носили шерстяные одежды, питались желудями, которые разбивали, подслащивали, размельчали и смешивали с диким ячменем.

Карамийцы приняли Солнечного суфия за своего, и пригласили в свое общежитие-ханаку. Он пришел, и они встретили его как брата и сотоварища. Они посадили его к скудному дастархану. Они стали расспрашивать, как он познает Того, который Он, и почему Солнечный суфий Шамс, вознося молитвы Ему, возносит их Ахуро-Мазде и Михр-Митре, Солнцу и Небу?

И пришлось Солнечному суфию Шамсу освободиться от гнета скованности и сбросить маску застенчивости. И пришлось рассказать им, что в поисках истины-акк, он ищет путь-тараку в Страну Знаний, поскольку в ней скрыта истина истин. И только в ней можно узнать, почему в умах предков рождались другие Боги. Может быть, без них они не понимали себя? И небо над головой не понимали они. И звезды, и Солнце, и Луну, и воды небесные и воды земные не понимали они без них. И мысли свои и поступки свои не понимали они. И только войдя в первые чертоги Страны Знаний, научились с помощью божественных образов наделять они мир смыслами-метками. А с помощью смыслов-меток научились они понимать мироздание и структуру Дома Единственного и Всемогущего... И он, Солнечный суфий Шамс, хочет с помощью знаний увидеть, что будет потом! Он хочет увидеть Будущее через Прошлое,

поскольку Настоящее — зыбко и мимолетно... Настоящего нет!

И суфии-карамейцы поняли его. И он остался у них до утренних ветров судьбы, и успел рассказать им о мудрости Аристотеля и Платона, которая уже завоевала сердце его. И многое, о чем знал, рассказал им он в течение ночи, а утром продолжил свой путь в благородную Бухару.

...Дойдя после кладбища до ее крепостных стен, помолился он вначале в мечети Намозгох, но вошел не с юга в город, а через северные ворота Имом. Устроив ночлег у бассейна любви — Ляби-хауз, распустил он волосы, чтобы его не узнали, и не докучали чтобы ему. Но его на следующий день узнали. И каждый день стали докучать просьбами о проповеди.

И с проповедями поиска Страны Знаний обошел он все пятьдесят базаров благородного города. И прочел он свои проповеди на сенном базаре Алаф, на базаре ножей Бозори-корд, на веревочном базаре Бозориресмон, на книжном базаре, где получил в подарок комментарии к метафизике Аристотеля, которые составил Ал-Табари. И на книжном базаре Солнечный суфий Шамс снова вошёл в мир книг и знаний! И забыл он на книжном базаре о Молнии боли, которая пронзила сердце его после сожжения книг его в Сармышсае.

Потом его позвали в квартал Арабон, где жили арабы, потом позвали в квартал Дегрези, где жили литейщики котлов, потом в квартал Гозиен, где жили борцы за веру, потом в квартал Сабунгарон, где жили почтенные мыловары. И везде он говорил, как надо любить знания, как надо беречь память о предках, ибо она вместе с Аллахом взлелеяла человека. Он говорил, как надо понимать небесных покровителей



предков, кого они знали, еще не зная Всевышнего и Единственного.

А потом, вопреки запрету имамов, пригласил его посетить древнюю крепость-Арк и помолиться вместе с ним в домашней мечети кушбеги правителя благородного города. И он помолился вместе с кушбеги в домашней мечети, а потом постоял и помолился возле ниши, на месте которой далекие предки, не зная еще Аллаха, приносили в жертву коня в память о воплощающем Солнце юноше-Сиявуше. А до быстрого коня приносили в жертву далекие предки самого красивого юношу, которого избирали на год царем, а потом, когда он в день зимнего солнцестояния въезжал в город на белом осле, сами же подвергали жестокой казни. И олицетворявший Солнце юноша-царь возносился к небесам, а через год возвращался, перевоплощенный в другого посланника Солнца...

\* \* \*

...А после благородной Бухары отправился Солнечный суфий Шамс в Газни, посланцы которого, придя в Бухару, передали ему свиток с приглашением от эмира. Солнечный суфий Шамс уже бывал в Газни и поклонялся могиле Аль-Бируни! И он уже поклонялся крепостным стенам этого города, вдоль которых в волнении прохаживался великий Фирдоуси! И напрасно Фирдоуси ожидал, когда султан Махмуд оценит величайшую из великих эпическую поэму Шахнаме, которую он писал сорок лет! В Газни он, Солнечный суфий Шамс, уже молился руинам буддийского монастыря. И он уже молился праху убиенных гуридами и монголами горожан славного города.

Но, несмотря на это, отправился он в Газни снова, поскольку еще на пути в Бухару, передвигаясь из по-

селения в поселение вместе с поклонниками и купцами, а потом, придя в благородный город, войдя там снова в мир книг и знаний, успокоился и остудил свою боль. И он отправился снова в Газни, поскольку в приглашении эмира обещана была ему должность хаззана — главного библиотекаря медресе.

И он отправился в Газни, поскольку там существовало несколько суфийских школ мистической философии. А представители этих школ, признавая Аллаха единственно Сущим, уважали верования других. И это ценил Солнечный суфий Шамс. А были в Газни еще две суфийские школы, одна из которых связывала себя с учителем Абу-л Касимом ал-Джунайда. Уповая на Бога, она проповедовала трезвость, осмотрительность, уединение и озарение.

Другая школа мистической философии отдавала хвалу Абу Йазиду Тайфури ал-бустами, которого Всевышний позвал к себе еще раньше Абу-л Касима ал-Джунайда. Представители этой школы были пьяницами, подозрительны, эмоциональны. Они предавались разврату и поиску галабы — восторга и экстаза от утех земных. Они просиживали дни и ночи в притонах опиуманов — в кукнор-хоне. Они пили там маковый сок и настой конопли — сабзоб. А вместо власяницы они носили шелковые одежды пари-паша, схожий по цвету с крылышками комара.

А было еще много других суфийских орденов в городе этом. Но не было в Газни суфиев, ищущих путь-тараку в Страну Знаний, как ищет его Солнечный суфий Шамс. И это привлекло к нему внимание ал-Шарафутдина, эмира Газни, который относил себя к суфиям. И поэтому ал-Шарафутдин стал искать встречи с Солнечным суфием, и поэтому посылал к нему одного посланца за другим с приглашениями посетить столицу поэтов.

И когда Солнечный суфий Шамс пришел в Газни, его сразу же узнали у врат города и отвели в сохранившиеся строения дворца Маасуда. Именно здесь устроил свою резиденцию эмир ал-Шарафутдин. Он ждал Солнечного суфия Шамса в старом саду, чинары которого питало солнцем газнийское небо, а они питали газнийское небо благоуханием листвы, шелестом и тайнами вельмож, и мыслями философов, отдыхающих иногда по приглашению эмира под купами облысевших стволов гигантов.

И под куполами облысевших гигантов совершил он, Солнечный суфий Шамс, вместе с эмиром ал-Шарафутдином, молитву, а потом скромную трапезу. А потом вместе пошли они осматривать сад и дворец Маасуда, занявшего трон газневидского государства после смерти отца своего — великого Махмуда.

И в южной оконечности сада, которая сползла к реке, заросла ивняком, дикой грушей и конопляником, эмир ал-Шарафутдин решил возмутить страстью сердце Солнечного суфия Шамса. И повел его к развалинам айвана, спрятанного зарослями от любопытных глаз. И показал четыре резные колонны и низкие постройки из пахсы. И показал ажурную конструкцию бамбуковых труб под потолком.

И, войдя в айван, ощутили они божественную прохладу. И сели на шелковые курпачи. И эмир ал-Шарафутдин выпил сладкое гератское вино. И после трех глотков оглядел сад, дворцовые постройки, контуры которых были видны между ветвей высоченных чинар, и процитировал ал-Шарафутдин шеир Хайяма: «Этот старый дворец называется — мир. Это царский, царями покинутый пир. Белый полдень сменяется полночью черной, превращается в прах за кумиром кумир».

А Солнечный суфий Шамс сказал, что с почитательностью относится к стихам Хайяма, но считает, что суфийская поэзия, в отличие от философии суфиев, несколько однообразна. И сказал он, что поэты-суфии часто использует одни и те же образы. А Хайям был немногословен в стихах. Он был лаконичен. Он был глубок в философском смысле. И Солнечный суфий Шамс ценит стихи Хайяма за это.

— А теперь увидишь, что я тебе покажу, — сказал в ответ эмир ал-Шарафутдин и попросил слугу сдвинуть полотно, заслонявшее внутреннюю стену айвана.

— Посмотри, почтенный Солнечный суфий и друг мой! Это осталось от Маасуда, сына великого Махмуда, к имени которого присоединяли низбо Газневи. Этим зрелищем, как и Маасуд когда-то, я услаждаю взор свой в дни тайной моей печали.

И Солнечный суфий Шамс увидел то, от чего он прятал свой взор в Шаше, Самарканде, Кармана, в Бухаре и в Мерве. Он прятал свой взор, когда на базарах, заманивая в тайные уголки, ему показывали, предлагая купить, пергаментные свитки с мерзостными сценками совокупления мужчин с женщинами, мужчин с мужчинами, женщин с женщинами.

Вот почему Солнечный суфий Шамс сразу же отвернулся и хотел встать, чтобы уйти, но эмир ал-Шарафутдин сказал:

— Нет, ты, почтеннейший, смотри же, смотри. Это то, что тебе не хватает, скажу я... Ты ищешь пути в Страну Знаний. Это и есть твой путь. Смотри и входи в один из виллоятов этой Страны...

— Всякий, кто оберегает свой глаз от того, что не следует смотреть, никогда не совершит того, что не следует совершать, — ответил Солнечный суфий Шамс.

Ал-Шарафутдин сразу нахмурился, и с лица его спало добродушие, с которым он вел своего гостя в сад. И грозно он повторил:

— Смотри!

И Солнечный суфий Шамс оглянулся, чтобы понять причину гнева эмира ал-Шарафутдина. На алебастровой стене кисть мастера вывела нагих женщин и мужчин, занимавшихся любовью. И Солнечный суфий Шамс вознес руки к небу, прося за свое падение прощения у Аллаха. А, опустив руки, он снова взглянул на крашенный алебастр. Фигуры женщин благоухали на нем здоровьем, полнотой крови в телах своих, истомой миндалевидных глаз.

Эти сцены мастер срисовал из Алфии и Камасутры, подумал Солнечный суфий Шамс. Но, срисовав, вложил в них новые смыслы. Дышал вдохновением, возвышением духа над плотью любовный экстаз на алебастре его. И терял он низость и натурализм. И призывал жить, радоваться на благородной груди Земли, где ты рожден человеком. Где среди тварей только лишь ты один думаешь об этом и страдаешь от этого, и отвергаешь то, что ни одно другое существо не отвергает. И истязаете плоть свою. Ради чего? Ради светлого озарения, слова истины и презрения?

И Солнечный суфий Шамс думал об этом, пока эмир ал-Шарафутдин, рассказывал, что к сыну Махмуда Газневи каждый вечер приходили исполнители-мурриби любовных песен и танцев. Мужчины и женщины приходили. В дневной зной за дирхем пробирались они потайными ходами утолить его страсть к развлечениям, а вернувшись в свои жилища, возвращались к прошлому бытию: стирать одеяния, шить ичиги и варить янтарное зерно с мясом, и произносить таинственные молитвы.

Но никто из них не стыдился своей участи. И никто из них не говорил «нет». Ибо и отцы, и матери их, и деды были из рода мутрибов, служивших еще в голубых храмах Анахиты: и после Зороастра служивших, и после пророка Мухаммеда тоже.

— Поистине, во всякую голову залетает любовь, — произнес в ответ Солнечный суфий Шамс, — но не должна она касаться царского венца. От планеты страсти до зенита царской мощи — большое расстояние. Мне же видеть такое не приличествует. Это не путь в Страну Знания. Кто вкусил сладость повиновения беспредельному, тому нет дела до плотских забав. Таким должен быть истинный суфий.

Но эмир ал-Шарафутдин сказал, что Солнечный суфий Шамс больше захид, чем суфий. И казал он, что такие сторонники крайнего аскетизма-зухда лишают человечества Будущего, которое ищет Солнечный суфий Шамс. И напомнил Солнечному суфию Шамсу о каландаре Хашиме, которого почитали захидом, потому что ходил он с бритой головой, с нечесаной бородой, в рванье. Его считали захидом, потому что руки и уши у него, якобы, были пробиты, а в дырках звенели железные кольца. И считали его захидом, потому что кольцо из железа натянул он, якобы, на детородный орган свой как символ целомудрия. Но целомудренным не был каландар Хашим, и все, что о нем говорили, сплошные сказки. Хашим знал, что целомудрие закрывает дорогу в искомую Страну Знаний. И он был истинный суфий!

А еще эмир ал-Шарафутдин сказал, что он, эмир ал-Шарафутдин, суфий, который в экстазе аскетов не видит пути к истине, а в удовлетворении страсти он видит истину, открытую Аллахом для смертного. И он может носить власяницу, если того пожелает Ал-

лах, и может носить шелковые рубахи. Сегодня он может творить молитву и класть по тысячи поклонов в день. А завтра — он вообще может не творить молитву, ни добровольную, ни приписанную шариатом. И не считает это неверием. Но он, прежде всего, суфий, а потом уж эмир Газни... И такой тасаввуф, который называют суфизмом, и есть дорога в беспредельное, и есть путь, по которому можно войти в Страну Знаний...

И после этих слов эмир Газни ал-Шарафутдин грубо попрощался с Солнечным суфием Шамсом, забыв о том, что обещал ему должность хаззана в библиотеке медресе, и жалование в день по одному дирхему...

\* \* \*

...А Солнечный суфий Шамс в поисках своего пути в Страну Знаний снова пошел по просторам Хорасана, потому что удел солнечного ангела, отмеченного волей Аллаха, всегда быть в пути. Ведь так говорил ему дед его, Абу-л Фаттах. И лишь семь раз, ищущим свой путь, дозволены укрытия и стоянки. И три из них, и три стоянки он уже одолел. И к четвертой пошел он, Солнечный суфий Шамс, в Нишапур, куда за великую страсть к книгам звал его эмир Нишапура.

А звали его еще правители многих поместий и виллятов. И звали его к себе суфии ордена Маразика, который основал Абу Амр Усман Марзук ал Кураши. Звали суфии ордена Хайдарийа — шейхом его был турок Кутбаддин Хайдар аз-Завуджи. Но он оставался самим собой. Он был Солнечным суфием, человеком Земли, суфием всех религий. Он не хотел никому принадлежать. Он хотел принадлежать себе и воле Аллаха.

...А в Нишапур он пошел, потому что несколько веков назад укрыл этот величественный город от пра-

вославному гневу несторианцев. Потому что сберег Нишапур в окрестных горах величественный Адур-Бурзен-Михр, один из священных огней зороастрийцев. И поэтому Солнечный суфий Шамс снова пошел в Нишапур. И потому что уже забыл о Молнии боли, попавшей в сердце его после сожжения книг в Сармышсае.

И пошел он в Нишапур, поскольку поколение назад сын Чингисхана Толуй истребил почти всех сопротивлявшихся оружию монголов нишапурцев! В живых оставил он только четыреста мастеров всяческих дел! И пошел он туда, поскольку Нишапур не стал на колени перед монголами. Потому что он выжил, и славен был на весь Хорасан своими поэтами, учеными и богословами. Своими рабатами для купцов, бронзовыми котлами, гончарными изделиями, шёлковыми и хлопчатобумажными тканями...

А пошел он в Нишапур к разоренной монголами библиотеке, которую завещал когда-то городу кади Ибн Хиббан. А пошел он туда, потому что получил от своих мирюдов вот какое известие: узнав о вероломстве эмира Газни, обманувшего Солнечного суфия Шамса, эмир Нишапура решил подарить ему должность библиотекаря в нишапурской Хаззанат ал-хикма, то есть — в Сокровищнице Мудрости.

И по этой причине тоже пошел он туда, забыв о Молнии боли. А шел он и думал, что счастлив тот, кому дали способности, но не дали самообольщения. А шел он и думал, что в мире земном все опасно, а безопасности нет. Но в мире будущем, куда он попадет через Страну Знаний, все будет безопасно, а опасности не будет, по воле Аллаха.

Он шел в Нишапур, но мысли его были свободны от суеты дорожной. Душа его покинула этот мир, где про-



должало жить его тело, и начинала свое восхождение от стоянки к стоянке на том пути к истине, который избрал он для себя. На том пути в Страну Знаний, куда он желал попасть.

Его пугали разбойниками на дорогах, его пугали эпидемиями в рабатах. Его пугали христианами и иудеями, ассасинами и огнепоклонниками. Но он шел, потому что он был суфием всех религий. Потому что он был Солнечным суфием и не знал страха, и не боялся смерти. Истинный суфий не знает страха и не боится смерти. Он живет и странствует налегке, не разлучаясь с богами предков и с Единственным и Всемогущем Аллахом.

Днем над головой у него было синее небо, волнами которого Аллах доверил управлять Михр-Митре. И было жаркое Солнце Аш-Шамс, пламя которого Аллах дозволил зажечь Ахуре-Мазде. А ночью над головой у него висело звездное небо, полное тайн и фравашами. Он странствовал по нему от созвездия к созвездию в поисках Страны Знаний, и, как Омар Хайям в своих стихах, просил прощение у Сущего стихами великого нишапурца: «Хоть я Тебе не угождал, Господь, / И грех с души я не смывал, Господь, / Живу с надеждой на Твое прощенье, / Ты — мой, всегда единственный, Господь...».

### **Ученые споры в Нишапуре**

...Полгода прошло после того как эмир Нишапура подарил Солнечному суфию Шамсу должность хаззана — дворцового смотрителя восстанавливаемой библиотеки. В Нишапуре называли ее Хаззанат алхикма, то есть — Сокровищницей Мудрости. И сейчас, как всегда после заката солнца, человек всех ре-

лигий, Солнечный суфий Шамс стучал деревянными башмаками по кирпичным коридорам библиотеки. Одна из его обязанностей — проверить все ли жемчужины знаний на месте, не покрошился ли где пергамент, не сорван ли переплет с божественных рукописей мудрецов.

Нишапур уже засыпал сном праведника: охрипший, опухший, напившись за день счастьем и горем, чаем и мусалласом. Гасили последние фонари с догорающей нефтью угомонившиеся, наконец, базары. Затихали на свадьбах дойры и лютни. Заняли свои переулки ночные колотушники. И уже замолкли речные птицы.

Но по голубым пуповинам минаретов все еще робко стелились полотнища ночи. Все еще вздрагивали во сне уставшими телами любовники. И тестомесы не встали еще у остывших печей-тандыров. И Солнечный суфий Шамс, обойдя все закоулки Сокровищницы Мудрости, сидел и сидел все еще на стремянке с оплывшей свечой, перелистывая пальцами в холодном воздухе очередной жухлый пергамент и сморщенные страницы тяжелых фолиантов.

Десятки из них незадолго до варварства нуратинских нукеров, бросивших в огонь его библиотеку, он сам подарил эмиру, когда в очередной раз бродя по Согдиане, посетил Нишапур. Согдиана слилась с Хорасаном и расцвела при Саманидах, которые покровительствовали мудрецам, поэтам и суфиям, слоняющимся по кишлакам и большим селениям, врачевателям и философам. Согдиана, еще помнившая набег македонца Зулькарная, была его родиной, и Солнечный суфий Шамс любил ее...

Особенно любил он и вспоминал в минуты тоски кишлак в урочище Сармыш, скалы которого вплоть до плос-

когорья Джиноты, загроможденного гранитными валунами в формах и очертаниях животных, из века в век покрывались рисунками разных эпох. Их оставляли древние охотники за оленями, пастухи, воины, почитатели Митры и Заратуштры. Здесь же собратья-суфии успели выбить на черных скалах суры из Корана и свои изречения. А неистовые приверженцы Али по приказанию кади, который посылал письма эмиру о еретике Шамсе, выбили здесь же заклинания о запрете человеку изображать образы, ибо это только во власти Аллаха.

Еще будучи предводителем суфиев в Сармышсае, из года в год Солнечный суфий Шамс выкупал в Согдиане у торговцев фолианты мудрости, иногда и сам проделывал вместе с купцами нелегкий маршрут пилигрима.

Теперь, после многих лет странствий и подаренной ему эмиром должности хаззана, Солнечный суфий Шамс перестал путешествовать на родину и обратно. Он ушел с головой в новые хлопоты. Два лунных месяца посвятил составлению каталога. Пришлось просить помощи у мушриф-инспектора, христианина Рауфа, знающего фарси и санскрит. Пришлось просить помощи у Абраахама, раввина из квартала ткачей и красителей: он знал и арамейский, и греческий, и чагатайский.

Вместе они едва уместили перепись библиотеки в четыре тома, хотя вакил, дворцовый Управляющий, ал-Мударис, вначале пытался мешать мелкими придирками. С блеском подозрения в глазах: а что делает, дескать, здесь раввин, поминутно запахивая халат на больном теле, он ежедневно прохаживался надсмотрщиком по коридорам Сокровищницы Мудрости, а потом перестал. На третий месяц, усмирив гнев в воспаленных

зрачках, тоже включился в дело. Порозовел лицом, приосанился и по утрам приветствовал кивком головы даже раввина.

Наконец все они вместе завершили переноску книг и свитков из прогнивших сундуков и старых каменных ниш в шкафы из накладного дерева высотой в десять локтей и шириной в три локтя, с дверцами, которые опускались сверху вниз. В Большом вестибюле разместили квадратом маленькие столики. Бросили к ним подушечки-курпачи, циновки, одеяла. В центре заставили каменщиков выложить низкий очаг-санда́л, который прогревал тлеющими углями холодные своды вестибюля, покрытые резным ганчем. Снизу в свои воздухопроводы сандал засасывал прохладный воздух, а сверху выбрасывал уже нагретый. К сандалу в зябкие дни, ерзая задами, не выпуская из рук полученную книгу, приноровились уже продвигаться, провалившиеся в бездну знания и забывшие своих домоладцев посетители Сокровищницы Мудрости.

К длинному сводчатому залу, уходящему к северной стене дворцовой мечети, по совету уже увлеченного реконструкцией Управляющего ал-Мудариса пристроили боковые линии. И там тоже разместили шкафы. В одно боковое помещение сложили книги и свитки по одной отрасли знания, во второе — по другой. Заполнили десять тупиковых пристроев с окнами на мандариновые деревья Большого сада.

После перечисленных хлопот подсчитали все жемчужины: фолианты и пергаментные свитки Сокровищницы Мудрости. Оказалось их 85 тысяч 120 экземпляров, купленных или завещанных и переданных учеными-улемами. Принесенные секретарями-хатибами, купцами, менялами, рыцарями пророка. Некоторые из них прислали повелители ислама в Кордове и Каире, а не-

которые неведомо как попали в темные сундуки эмира Нишапура.

Божественными хлебцами стояли на полках фолианты по догматике, логике, математике, философии, астрономии. Тайным свечением отливались сто экземпляров Корана, «Большая книга поколений» Ибн Саада, «История Нишапура» ал-Хакими, пять рукописей ат-Табари, купленных эмиром за сто динаров, «Легенды о пророках» Ахмада ас-Салаби, «Изложение религий и культов» ал-Мусабиhi.

А еще на полках светились мудростью своей «Книга о благочестии» и «Книга об именах и прозваниях» суфия Ат-Термези, «Книга сложения и вычитания по индийскому способу» Мухаммада ал-Хорезми, «Этика дискуссий», «Этика судьи», «Красота диалектики» поэта и лингвиста Абу-бакр аш-Шоши, другие бесценные раритеты.

Особняком расположились копии учебника суфизма, написанного двести лет назад ал-Макки, подбитые парчой и шелком, переплетенные в дорогую кожу рукописи шерстобита, еретика-гностика ал-Халладжа, казненного багдадским халифом. И было за что, считал дворцовый Управляющий: в своем сочинении «Китаб бат-тавасин» ал-Халладж полагал случайной идею Аллаха и восторгался пророком Исой, названным христианами Иисусом Христом.

Однако человек всех религий, Солнечный суфий Шамс не был согласен с Управляющим. Он настоял на отдельной полке для Ал-Халладжа. Ведь тот стилистически безупречно рефлексировал по поводу богочеловеческой природы Исы, и это дозволительно алиму, то есть ученому человеку.

Свое особое место в библиотеке заняли писанные золотом на китайской бумаге манихейские сочинения, пере-

писанные рукописи Хайяма, ал-Бируни, Абу-Али Ибн Сины, В потаенный шкафчик положили и закрыли на замок Коран, где разночтения выписаны между строк красным, толкование редких выражений синим, смыслы, приличествующие для практического их применения, — золотом.

Больной дворцовый Управляющий ал-Мударис выпросил у эмира через Диван ан-нафакат, ведомство расходов, капитал для содержания возобновленной Сокровищницы Мудрости. Половину его Солнечный суфий Шамс с инспектором Рауфом спустили за неделю, прикупив на базаре еще сотни три фолиантов. Опомнившись, составили смету на год, уподобив ее смете каирского Дома науки — Дар-ал-Илим, который основал халиф ал-Хаким. Вот как она выглядела: «приобретение новых кладезей знаний — 500 динар, жалование библиотекарю-хаззану, то есть ему, Шамсу, — 48, прислужникам — 15, на бумагу — 90, заведующему бумагой, чернилами, тростником — 12, на ремонт — 12, на питьевую воду — 12, аббаданские циновки — 10, восточные ковры для зимы — 5, одеяла на зиму — 4, починка дверных занавесей — 1 динар. Итого 709 динаров!

Инспектор Рауф заметил, что испанский правитель Хакам тратил на содержание своей Сокровищницы Мудрости 5000 динар! Его каталог состоял из 44 тетрадей по 20 листов каждая. А им эмир распорядился выдать одну седьмую часть: «Всевышний, да поможет нам тоже оставить след в памяти благородных потомков...».

Теперь они вчетвером часто уединялись в одной из отдаленных секций библиотеки, дружелюбно глядели друг другу в глаза, время от времени почесывали бороды гребнем и говорили, и говорили... А порой спо-

рили, брызгая слюной, в изнеможении валились на ватные подушечки-курпачи. Потом говорили снова. И снова потом начинали спорить, то один, то другой, вскакивая и убегая за фолиантом к какому-либо шкафу. И не обращали никакого внимания на писаря Фахрутдина, который подслушивал и записывал. Который слонялся как бы без дела, но держал ухо востро.

\* \* \*

...Когда Нишапур проснулся и стал оглашать небо призывами муэдзинов, торговцев, водоносов, библиотекарь Шамс, наконец, и сам решил прикорнуть на суфе, загасив огарок третьей уже за ночь свечи. Но в Сокровищницу Мудрости снова пришли, как приходили и все последние дни, Управляющий ал-Мударис, инспектор Рауф и раввин Абраахам. Они уже не могли беспечно встречать утро в чайхане, в мечети, в синагоге или же в церкви. Они закончили каталог Сокровищницы Мудрости, но воспалили умы желанием знать и войти в Страну Знаний, путь-тараку в которую ищет человек всех религий — Солнечный суфий Шамс.

Солнечный суфий Шамс усадил их за низкие столики и предложил прочесть еще раз утреннюю молитву. Управляющий ал-Мударис, сам Шамс возвели ладони к потолку и начали фатиху: «Ла илляһа-илля-Ллаһ Мухаммадун расулю-Ллаһ...», которая означала таухиду, то есть безоговорочное принятие идейной основы ислама. Христианин Рауф наложил на грудь Крестное знамение, а раввин Абраахам стал перебирать финиковые четки. Потом поделились базарными новостями, которые были наполнены недовольством жителей квартала ткачей и красителей. Потом, как и договорились накануне, стали рассуждать о том,

что важнее для образования верующих — Коран или хадисы, Талмуд или Тора для иудеев, Ветхий Завет или Новый Завет для христиан.

Инспектор Рауф, как и Солнечный суфий Шамс, считал, что Священные Книги всех религий — это родники памяти и знания. Управляющий ал-Мударис сказал, что для иных мусульман ценнее ценного Корана сама Сунна, буквально означавшая «путь», «обычай», «пример». Сунна включает в себя бесценные хадисы — рассказы о пророке и его деяниях. Не зря же милостивый и милосердный произнес: «Кто сохранит для моей уммы сорок хадисов, тому скажут в Судный день: «Заходи в рай, с каких пожелаешь ворот».

Но кроме хадисов и Корана, строго сказал Солнечный суфий Шамс, надо читать и другие книги о святой вере, чтобы не отстать от колесницы истины, доставляющей своих пассажиров в Великую страну знания. Раввин Абрахам тоже попросил слово и сказал, что в отличие от Корана и хадисов, в его вере Тора и Талмуд неразделимы. Тора — это пятикнижие и великолепие Моисея, Талмуд — это пиршество ума мудрецов, которые спорили во времена Второго храма. Исламский пророк учился у мудрецов и пророков-хабири, то есть у евреев. Ислам — ребенок иудаизма, ваш пророк — ученик наших пророков... В Сокровищнице Мудрости лежат десять Тор, но их нельзя читать не иудеям. Высокочтимый Шамс-хаззан должен знать это и не выдавать не признающим Яхве Тору. Тора — это руководство к действию, а христиане и мусульмане не должны действовать как иудеи. Они могут изучать в Торе только Семь заповедей для потомков Ноя.

— Хотя я считаю, — продолжил Абрахам, — что и мусульмане, и хабири-иудеи, и маджус, то есть зороа-



стрийцы-огнепоклонники, — равны. Вас угнетают христиане, нас угнетают мусульмане, а это не по вере. Не должно быть такого руководства к действию ни в Торе, ни в Новом Завете, ни в Коране, ни в Гатах Заратуштры.

Управляющий ал-Мударис почти согласно кивнул головой, но потом произнес:

— Все по воле Аллаха... А коли ислам — ребенок иудаизма, признаете ли вы, Абрахам, что иудаизм — ребенок маджуса, который греки называют зороастризмом? Ваша вера взяла у огнепоклонников веру в единого Бога. Она переняла у них неприятие иконических символов. Она скопировала у них законы ритуальной чистоты. Она уверовала их верой в существование ангелов, бессмертие души и загробное воздаяние. Не так ли?

Абрахам не ответил, а только склонил голову к поблекшим листам Торы, лежащей у него на коленях.

Управляющий ал-Мударис продолжил свою речь, в которой не отрицал достоинств Ветхого Завета, куда входят и Талмуд и Тора. Он также не отрицал достоинства хадисов, однако считал, что Коран священней всякой святости. Священнее Ветхого Завета и собрания хадисов — Сунны. Ведь сборщиков хадисов сотни, и не всему, записанному о Пророке в хадисах, надо верить безоговорочно. А в Коран правоверный должен верить безоговорочно: он сам себя толкует, и некому не дозволено больше этого делать. Сказал же Пророк: «Тот, кто толкует Коран по собственному усмотрению, попадает в ад».

— Я прочитал, что историк Ат-Табари поведал нам, — закончил свои рассуждения Управляющий ал-Мударис, — как один истинный правоверный, прослушав однажды слова никчемного толкователя Корана, об-

ронил ему в гневе: «Для тебя, о, несмышленный, было бы лучше, если бы по твоему заду стали лупить, как по тамбурину, чем сидеть тебе здесь...».

Сам Солнечный суфий и почтенный Шамс-хаззан (так его стали теперь называть все мудрецы Нишапура), тоже не зря просиживал ночью со свечей у длинной вереницы шкафов в Сокровищнице Мудрости. Но в это утро он соглашался и с тем, и с другим сотоварищем:

— Богословие, которое мы называем илм, — тихо произнес он, — помогает верующим вознести взор к небесам, а не к ненависти, распрям и роскоши. Но мир застынет без наук. Почему суфийскую ма-риффу, по-гречески это зовется гнозисом, отрицают иудеи? Почему ее не терпят христиане? Почему ее любят только суфии, а не все мусульмане? Ма-риффа и все науки словно маяк в бушующем море уводят от коварных рифов, сокращают нищету, изобретают настенные тараны, колесницы, масла и лекарства, угадывают пути блуждания звезд. Надо только любить науки, а не просто молиться.

Заметив за колонной тень какого-то человека, он предусмотрительно замолчал, а потом достал из-под своего тощего заду обтянутую бычьей кожей рукопись мудреца-мудрости ал-Мутаххара:

— Послушайте... Сейчас: «Наука открывает свое лицо лишь тому, кто целиком посвящает себя ей с чистым разумом и ясным пониманием и, вымолив себе помощь Аллаха, собирает воедино все силы своего рассудка, кто засучив рукава, бодрствует ночи напролет, утомленный рвением, кто добивается своей цели, шаг за шагом поднимаясь к вершинам знаний, кто не насилует науку бесцельными отступлениями и безрассудными атаками, кто не блуждает в науке наугад,

как слепой верблюд в потемках. Он не имеет права разрешать себе дурные привычки и давать совратить себя своей натуре, должен избегать общества, отказаться от споров и не быть задирой, не отвращать взора от глубины истины, отличать сомнительное от достоверного, подлинное от поддельного и постоянно пребывать в здравом рассудке...».

Абрахам согласно кивнул головой.

Управляющий ал-Мударис, который уже по-другому относился к Солнечному суфию Шамс-хаззану, наведшему в Сокровищнице Мудрости порядок, после долгой тирады о науке, прочитанной библиотекарем, снова воспылал к нему недоверием, не выдержал и произнес раздраженно:

— Ваши братья иногда бывают двуличными, не все суфии, не каждого ордена, любят науку. Некоторые ваши течения под страхом небесной кары вообще запрещают всякую науку. Вспомните из прочитанного, что почти сто лет назад почтенный Ибн Хафиф, чтобы не быть забитым камнями братьями по ордену, прятал от них чернильницу в нагрудном кармане, а бумагу — в поясе штанов.

Управляющий ал-Мударис строго взглянул на Солнечного суфия Шамса и несколько высокопарно продолжил:

— Сокровищница Мудрости не для таких, как радеющий за науку ал-Мутаххар, и, может стать, не для таких, кто его цитирует... Она для высоты духа и для спасения души. Как это сделать — сказал пророк. Сказали почтенные богословы, написавшие эти книги... В дворцовой библиотеке должны быть только те, кто знает пути божественной истины, кто тоже напишет о спасении души новые истины... Иным... и многим покровительствуемым, — порог Сокровищницы Мудро-

сти нельзя позволять переступать. Осел, попавший в библиотеку, не станет писателем... Эмир пусть берет отсюда книгу о любви в гареме... Поэт — газели Хаяма, достойные почитатели Исы — Евангелии, раввины — Тору и Талмуд, суфии — сочинения своих мудрецов.

Передохнув немного, продолжил:

— Но иноверец или правоверный торговец пусть же подсчитывает вечерами кэш. Кузнец пусть же кует свои подковы в квартале кузнецов. Ткач пусть расчесывает шерсть, а кулагар в квартале горшечников пусть месит и обжигает глину. Сокровищница Мудрости для верующих, не занятых повседневностью бытия. Но она и не для всех обычных покровительствуемых исламом приверженцев других религий. И пусть простые поклонники Яхве и Иисуса не приходят сюда. И пусть простые идолопоклонники не приходят сюда. Не пускай их в Сокровищницу Мудрости, Шамс-хаззан! Одного Абраахама нам хватит...

Солнечный суфий Шамс сдержанно произнес:

— Один намаз, совершенный ученым человеком, лучше тысяч духовных подвигов, совершенных неучем...

...Абрахам не знал, что ответить на злобные слова Управляющего ал-Мудариса. Он любил Нишапур, он уже полюбил Сокровищницу Мудрости и добрыми словами рассказывал о ней прихожанам в молебном доме. Он заужавал Управляющего ал-Мудариса, который, несмотря на смертельную болезнь, это было видно по его глазам, столько вместе с ними сделал для восстановления дворцовой библиотеки. Но он страдал, когда слышал подобное сказанному Управляющим ал-Мударисом. Он был благодарен эмиру, который вопреки Султану благоденствовал иногда им, позволял им

жить здесь, в Нишапуре. Но не все из высокопоставленных так относились к иудеям-хабири, вот и Управляющий ал-Мударис такое сейчас наговорил...

Абрахам встал и отыскал в шкафах для географических книг хроники Вениамина из Туделы и Петахья из Регенсбурга. Раскрыв перед Управляющим ал-Мударисом фолианты, задыхаясь от волнения, возгораясь гордостью, осмелев знанием, стал водить пальцем по строчкам, переводя сходу с арамейского, стреляя зрачком выпуклого глаза, как мортирой в крестовосца или сарацина:

— «В империи ислама проживает 300 тысяч иудеев. 3 тысяч их живет в Дамаске, 5 тысяч в Халебе, который христиане зовут Алеппо. А по берегам Ефрата и Тигра людей Яхве, как по берегам Рейна и Мозеля, особенно много. Вдоль Тибра в Джезирате — 4 тысячи, в Мосуле — 7 тысяч... А чем дальше на Восток, то их общины дружнее и многочисленнее...».

Потом Абрахам вдруг закашлял и утер слезы, накатившиеся из глаз на щеки. Минуту спустя с горечью снова продолжил:

— И нет моих братьев в Иерусалиме. Вениамин нашел четырех, Петахья одного. А в Нишапуре нас тысяча! И мы такие же, как вы... Но мы гонимы. Мы гонимы, и нам дают халаты цвета меда, так говорит эмир. Но это халаты цвета поноса, а не меда. И связываем мы полы веревкой, не поясом. И нам нельзя петь песен своих. И Бога своего мы не мыслим в образах и в облачении небесными одеяниями...

Управляющий ал-Мударис возмутился этим словом:

— Субхан Аллах, сохрани боже! Никому не дано видеть Бога своего! О, богохульство! Вы резали раньше его из камня и пальмы, вы мазали его жиром, пола-

гая, что этот чурбан что-то значит. Полагая, что он видит вас, что он слышат вас. И сейчас такие есть среди вас. И сейчас хананяни кощунствуют над Всевышним.

Абрахам, успокоившись, ответил Управляющему ал-Мударису:

— Прочтите, почтеннейший, Хишама ибн ал-Калби. Он пишет, что это ваши предки поклонялись истуканам и камням. Имру-л-Кайс ибн Худжр, когда оправился в набег на Палестину, видел там Зу-л-Халаса, идола из белого камня. Мы не хананяни, но хананяне — наши братья, как и берберы. Они язычники. Мы хабири, зовут нас евреями. И наш Всевышний — безликий и с тайным именем...

— Хочу уточнить, — прервал Абрахама Управляющий ал-Мударис. — Имру-л-Кайс ибн Худжр был первый, отвернувшийся от идола. А в прах поверг его юноша-полководец Джарир ибн Абуаллах. Когда он пришел к Пророку нашему, Пророк наш сказал ему: «О, Джарир, не избавишь ли ты меня от идола Зу-л-Халасы?». — Да, ответил тот и отправился в путь. Племена хас-ам и баджила дали ему бой перед идолом, и Джарир убил сто человек из числа хранителей идола... Он победил их и других, разрушил он скопище Зу-л-Халасы...

— Слышал, что сейчас Зу-л-Халаса — порог входа в мечеть в Табале, — закрыв глаза усмехнулся Абрахам. — Зачем вы строите молельные дома на месте насилия женщин?

За колонной вновь метнулась тень какого-то человека. То ли это был бавваб (прислужник), то ли писарь Фахрутдин. Солнечный суфий Шамс снова не разглядел его. Он попробовал перевести дискуссию в другое русло, сообщив, что один иудей завещал му-

сульманину-соседу несколько книг мудрецов, в том числе рукопись Фараби, а мусульманин хочет подарить их Сокровищнице Мудрости... Но это сообщение не остановило, а только подогрело дискуссию.

Абраахам заметил:

— Это наследство незаконно. У нас мусульманин не имеет право стать наследником иудея или христианина, как, впрочем, таких прав нет по отношению к другим у иудея и христианина. Эмиру надо менять права наследия. Имущество иудея, не имевшего наследника, должно уйти в пользу общины умершего. Знайте это, почтенный Шамс-хаззан... Не ждите пока книг этих...

\* \* \*

...Еще два лунных месяца вели в Большом вестибюле Сокровищницы Мудрости свои дискуссии Солнечный суфий Шамс-хаззан, дворцовый Управляющий ал-Мударис, инспектор Рауф, раввин Абраахам и еще несколько ученых-улемов. Затем от болезни и косых взглядов эмира Управляющий ал-Мударис умер. За день до своей кончины, спустившись в опочивальне с тахты, он сам приготовил все необходимое для обмывания, выбрал саван, сложил в сундук, написал на нем: «Облачение для потустороннего мира»... Следующим утром его душа отошла к Аллаху.

Через день, получив бумагу от писаря Фахрутдина, эмир приказал закрыть на засов двустворчатые двери Сокровищницы Мудрости, вначале заточил в темницу Солнечного суфия Шамса, а потом выпустил. Потом казнил христианина-инспектора Рауфа, раввина Абраахама и несколько ученых-улемов. Содержание их еретических разговоров с помощью того же писаря Фахрутдина сперва дошло до базара, затем перекинулось в кварталы ткачей-красителей, кула-

гаров-гончаров, христиан и иудеев. В Нишапуре поднялась смута...

Толпы нищих и гуляк, подзуживаемых писарем Факрутдином и тайными агентами эмира, попытались в этот день разгромить Сокровищницу Мудрости, а когда кто-то выкрикнул, что надо идти к покоям самого правителя города, дворцовая стража не пропустила их в дворцовую крепость-Арк. Некоторых побила стрелами, иных покалечила пиками, других высекла кнутами.

Но смута не закончилась в один день. Кипяток гнева нишапурцев бурлил на базарах и в чайханах, в кварталах, занятых делом, которые горбатились ради прокорма себя и домочадцев от зорьки до зорьки. Кулагары-горшечники, поклонявшиеся Ахура-Мазде, загасили печи и разбили горшки, приготовленные для продажи. Ткачи и красильщики-хабири ушли с берегов реки, где сушились готовые к шитью выбеленные и выкрашенные холсты, забились в свои подвалы в еврейских гетто.

Там они жаловались сами себе: «Нет нужды более чем нужда наша. У нас нет тучных стад. Питьевую воду мы покупаем по четыре дирхема за кувшин. Женщины наши прядут, мы ткем. А плата нам — половина дирхема в день. Не прокормишь собаку! Нас бьют. У нас забирают в залог сыновей. Дочерей наших бросают на ложе. И как нам жить дальше?».

Мимо квартала бакалейщиков пронесли в тот день почившую христианку. Христиане квартала шли под звуки литавр, с распятиями и свечами, с плакальщиками и монахами. И всегда так носили, кого призывал христианский Бог. Иудеев носили по-своему, манихеев по-своему, сынов Заратуштры по-своему. Мусульман тоже носили по-своему. И пусть бы носили. И пусть бы христианка с миром ушла к богу своему.



Но облезлый, без калапуша, Фахрутдин, тот, кто записывал крамольные речи Шам-хаззана, Управляющего ал-Мудариса, инспектора Рауфа, раввина Абраахама и других ученых-улемов, передавая потом бумаги с записями эмиру, проснулся в тот день за полдень. И разбудили его литавры. И он счел себя оскорбленным и вылез из своей конуры — помятый, прокисший, вонючий, с мочевым пузырем еще не опорожненным, — и стал швырять в гроб христианки камень...

И неистово стал кричать Фахрутдин, и уголки его губ пузырились пеной, а шея вздувалась как у повешенного раба. И кричал он:

— Правоверные! Ромеи, ференги и хабири одерживают победы. Правоверные! Пути паломников приходят в упадок... Правоверные! Священная война затихает... Поднимем зеленое знамя пророка!

А потом снова швырял камень в гроб христианки... А один христианин расколол ему череп дубинкой... А другие христиане, захватив покойницу, бросились бежать в церковь греческого квартала... И облезлый Фахрутдин лежал с расколотым черепом, но руки его камня не выпускали... И вначале его облепили мухи, потом уже обступили соседи... А потом весь квартал дворцовых служителей... А потом — весь Нишапур...

И пошли по его улицам толпы бездельников, водоносов, торговцев мылом, сутенеров, дехкан и убогих из пригородных сел. Ор их стоял по всему центральному кварталу, где уже растащили все глиняные кувшины-хумы у калиток. Походя, между взрывами криков и рева, толпы бездельников изнасиловали девочек, девушек, жен, старух и юношей из разрушенных домов.

Эмир закрылся во дворце и в смотровую испанскую трубу наблюдал за тем, что творилось на площади. Потом приказал найти Солнечного суфия Шамса. Потом принесли списки Корана, подняли их к небу... Закрыли двери соборных мечетей, молебных домов христиан и евреев-хабири. Но горожане снова пришли в ярость, и снова пошли к дворцу эмира. Эмир приказал привести христианина, расколовшего череп писца Фахрутдина. Христианина не нашли... Тогда придворцовый квартал, похоронив писаря Фахрутдина, пошел в христианский квартал. Взяли копья и камни, нашли вилы, серпы и секиры, дубинки и пики. В мечеть не пошли молиться за упокой души писаря Фахрутдина. Пошли в христианский квартал...

И натворили еще бед... Кололи и резали, душили, ломали и насиловали. Вспарывали чрево у женщин, и груди отрезали. И стон стоял, стон! Вначале в христианском квартале, потом в квартале ткачей и красителей-хабири, а затем в мусульманском квартале... Люди побежали из города. Он стал мертвым и угрожающим, гулким в вечерних сумерках. Закрывались мечети и бани, дома опустели, как после очередного землетрясения. особенно в центре. Обратилась в пепел Хаззанат ал-хикма, то есть — Сокровищница Мудрости...

Когда оставшиеся в живых почитатели Солнечного суфия Шамса вытащили его на веревках из круглой подземной темницы-зندان, он поклонился им и пошел с бушующим пламенем в груди по вечернему Нишапуру. Потом он всю ночь декламировал гимны Ахура-Мазде, молился по-христиански, молился по-мусульмански, молился по-иудейски. Потом Солнечный суфий Шамс-хаззан пошел на могилу писаря Фахрутдина и плюнул...

А потом Солнечный суфий опять ушел бродить по белому свету в поисках путей-тарака, которые ведут в Страну Знаний. Изнуряя плоть свою и совесть свою ушел он опять...

\* \* \*

...И вот... взял я перо, чтобы написать вам о Нем. О человеке, живущем во мне. О жизни Его и о смерти Его. О муках Его и о счастье познания. О никчемности и сладости бытия. О доброте и о верности, о трусости и отваге. А зовут его — Человек! И живет Он во мне многие годы. И идет Он за мной по пятам. И врывается Он в сны мои. И молится Он, и встает на колени. И шепчет, божится, и просит. И просит о чем-то.

...Он просит взять, наконец, перо и попробовать написать вам о Нем. Чтобы и вы, прочтя, знали, зачем Он со мной? Почему Он во мне — Человек всех религий, Солнечный суфий и поэт Шамс-Али, Шамсу-дин или просто — Шамс?

А я и сам не знаю, зачем Он со мной. Не знаю, клянись! Он просто во мне. Он хочет поведать, что было с ним Там и Тогда. Он, хочет из Прошлого ворваться в Будущее. А я хочу, чтобы он вначале попал в Сегодня. Разве кто-нибудь не впустит Его потом в Будущее, которое опять обернется Прошлым...?

1976 г.

**XX ВЕК:**  
**КРАСНЫЙ МЕДЖНУН**  
(приключенческая повесть)

Глава первая

I

...**В**ыстрел настиг человека, когда он сильным рывком поправил под мышкой увесистый сверток. Это было последнее осмысленное движение. От удара пули тело выгнулось, пошатнулось и, набрав скорость, гулко стукнулось о придорожные камни. Сверток вылетел из рук, сделал два кувырка, затем мягко, почти бесшумно плюхнулся в грязный арык.

Спустя минуту Наби-калон стал сомневаться в услышанном и увиденном. В неуловимом дыхании ночи не осталось и следа случившейся трагедии. Мирно шелестели царственные чинары. Из глубины сада, где стоял навьюченный осел, доносилось утробное урчание. Теплая ночь нежно обнимала стены-дувалы, сине-желтый купол мечети Касым-шейх.

И все же краски ночи догорали в сполохах утра. Над Зарафшаном за клубились струйки тумана. Запахло салом и дымом. Где-то шинковали лук, репу, нанизывали на кованые шампуры сизовато-алые, вы-

моченные в виноградном уксусе кусочки мяса. Готовились к базару.

Базар с вечера захватил мысли Наби-калона. У нищеты одна истина — голод. У голодного одна страсть — деньги. Где их взять? Заложить ростовщику веру? Продать дочь?

Он нарвал для базара дынь... И вдруг выстрел.

Наби-калон тихо стоял за пахсовым гребнем дувала. К месту, где упал человек, крадучись подъехали два всадника. Один был высокий в чалме из грубой маты. Второй — щуплый: халат висел на его теле широко, неудобно.

Щуплый первым соскочил с седла и нагнулся к земле.

— Эй, что там? — крикнул сидевший на лошади. Силуэт его стал упругим, как у барса, готового прыгнуть на плечи жертвы.

— Конец, — отозвался щуплый.

— Тогда пошевеливайся. Бери сверток...

Наступило молчание. Кто был на земле, запыхтел от натуги, стал судорожно шарить рукой, ползать, цепляя коленками полы халата.

Снова окрик:

— Что там?

— Пропал, пропал, пропал, — запричитал щуплый.

— Стрелял — был... пропал...

Высокий резво соскочил с седла, отпихнул сапогом напарника и стал обшаривать под ногами землю. Щелкали сбитые камни. Плеснула вода в арыке.

— Стрелял... был... пропал...

По куполу Касым-шейха пробежал первый солнечный луч, словно поторапливая незнакомцев.

Отчаявшись, они вскочили в седла, стегнув лошадей плетью, не хоронясь, рысью ускакали в светлую степь...

Теперь Наби-калон хорошо видел лежавшего человека. Тот упал на живот, щекой к земле, будто прислушивался к удаляющемуся топоту лошадей. Бухарский халат вздулся бугром на спине.

Ощущая озноб и страх, Наби-калон приплелся к калитке. Усадьба-курганча его стояла у Касым-шейха. Здесь раньше был базар. Находили усадьбу караваны из Кашгара, Герата, Нишапура и Кабулистана. Но базар разрушен, вокруг мечети уродливо возвышаются могильные склепы. Мертвые вытеснили живых.

...Заскрипели ржавые петли. Наби-калон помедлил. Потом взгляделся в лицо, подсвеченное пробивавшимся рассветом. Это был феринг. Или это был большей... Европейские скулы, тонкая нитка губ...

Прочтя молитву, старик почувствовал, наконец, пороховую гарь... Стошнило. Пятясь от убитого, нащупал защелку калитки, обернулся и шагнул в теплую прель сада.

## II

Проскакали верст десять. Когда совсем рассвело, а впереди показались рыжие вершины холмов-адыров, лошади пошли шагом.

Дымилась маревом пробуждающаяся степь... Из-за гор вырвались солнечные мечи — брызнула алая кровь света на головки тюльпанов. Блестела редкая в здешних местах роса. Как часовые, торчали суслики. Шуршали гекконы. Из нор, высверленных на берегах одинокого ручья, вылетали на охоту синегалки...

...Быстро меняла краски пробуждающаяся степь. Облако выплыло из синевы неба. Не спуститься ему до земли, как не подняться к облаку людям. Всею свое место. И всею свое время.

Так думал Омар — поставщик эмирского двора, изгой, правая рука курбаши Токсаба. Плевать ему на проповеди имамов и мулл. Не веру защищает он у курбаши. В священной войне стоит за себя, за свои лавки, мануфактуру, драгоценности, которые с помощью большевоев с винтовками стали отбирать у таких, как он, нищие дехкане и городские ремесленники.

Черная кровь бадахшанских рубинов. Чистая сле-за бриллиантов. Цейлонские изумруды, хризолиты, Памирский лазурит... О, как он понимал благородные камни, которыми торговал от Бухары до Нишапура! Как загорались глаза его высочества, эмира Бухары Сеида-Мир-Алимхана, когда он, Омар, гордый, независимый, высыпал на черный бархат добытые драгоценности. Мог ли другой так выгодно выторговать их у индийских, армянских, иранских купцов?

А кто он сейчас?.. Шакал, загнанный стервятником.

...Въехали в неглубокий сай, поросший бодамчой. За поворотом протяжно заржала чужая лошадь. Остановились. Случайный встречный — не друг. Омар присвистнул, натянул повод, и лошадь, всхрапывая, приседая крупом, стала карабкаться вверх по склону.

Осыпаются камни из-под копыт... Рыхлятся торосы на желтой глине. Падают смятые тюльпаны,

Вот и вершина, переходящая в широкое плоского-рье.

Погнали лошадей вскачь. Снова ветер в лицо, вскипает ярость в груди. Не до красот, не до тварей, ползающих внизу под копытами. Мчатся, мчатся! Бить коня плетью-камчой. Срывать злобу за неудачу.

Лишь достигнув Сармышского ущелья, красивого своими отполированными временем черными скалами, круто нависшими над виноградниками и горной речушкой, — пустили лошадей шагом.

Щуплый растерянно всплеснул руками:  
— Стрелял — был, потом пропал... Шайтан!  
Высокий выхватил плеть и рванул коня в его сторону.

— Сам шайтан. Сволочь. Чернь! Кишки ишака...

Плеть свистела в воздухе и впивалась в шею щуплого, рвала клочки ваты из стеганого халата.

Высокий, круглясь от злобы, краснел, оттягивал плеть с выдохом: «ы-х»...

Когда устал, остановился... Нет вины за напарником. Кто-то их предал, сообщил «большевоям» план операции.

Опустив повод, он стал вспоминать подробности минувшей ночи.

О том, что они отправятся в Кермене, знали Токсаба и Мансур — инспектор главаря армии Восточной Бухары Энвер-паши. Мансур пробрался через Фариш и учил Токсаба тактике.

Накануне в лагерь прискакал знакомый Омару еврей-ювелир Абохай. Сказал, проглатывая окончания слов, захлеб, сбиваясь и путаясь, кем и зачем послан. Его поняли так:

«Командир зиатдиновского боеучастка Смышлевич получил приказ изъять у богатых все ценности в пользу Бухарской республики. В городке ждут обысков, заделывают в дувалы золото, драгоценности. Старшины махаллей, муллы квартальных мечетей решили передать часть сокровищ Токсабе. Пусть защитит население Бухарского ханства от большевеев. Пусть закупит оружие в Афганистане. Присылайте в Кермене доверенное лицо».

Абохая отпустили, обговорив время и место встречи со старшинами. Токсаба решил послать в город Омара. Он разбирается в ценностях, будет знать, что взять.



И вот ночью они спешили на тайную встречу в Касым-шейх. Передача драгоценностей должна была состояться в ханке имама. Однако их опередили. Кто-то пришел чуть раньше, назвал пароль, забрал сокровища.

Незнакомца застрелили. А драгоценностей нет... Сам шайтан приложил руку к этому делу?!

### III

Ночное дежурство проходило спокойно. Милиционер Ачил Аблакулов и боец частей особого назначения Никифор Глубинный спали в старой крепости на запыленных скамьях.

Заместитель начальника ГПУ Андрей Косарев изнывал от скуки. В одной из стен темнела ниша, забитая пыльными книгами. Он взял манускрипт, попробовал прочитать замысловатую вязь. Не разобрался.

Выбрал потоньше — «Огонек». Март 1913 года. С.-Петербург, Галерная, 40. На обложке — снимок человека в богатом кресле, с тугой чалмой на голове. Глаза навывкате, чуть надменные. Нос с горбинкой, пышная казачья борода. У человека была сабля, на груди — бляхи и ордена, на плечах погоны полковника. Под снимком подпись: «Его величество Сеидь-Миръ-Алимъ, эмиръ бухарский съ пожалованным ему для ношения на груди портретом Государя Императора».

Косарев присвистнул. Стал перелистывать лощенные страницы журнала: светская хроника, реверанс Карузо, реклама. По соседству с Алимханом, фотографией праздника учащихся в «высочайшем присутствии в народном доме императора Николая II» — кричащие на все лады объявления. Московский врач Акулианц: «ра-

дикальное» средство «Ароматин» от гонореи. Доктор Боссар — выдающийся метод лечения грыжи. Психофренолог Шиллер-Школьник — самоучитель гипнотизма, физиогномики, френологии, графологии и астрологии. «Белла форма компания» — «совершенно даром» — 5 рублей за пилюлю — средство для сохранения бюста».

Косарев брезгливо выбросил журнал под ноги. Вылетела мятая страничка: «Батюшки...! Матушки...! Ахоньки..! Охоньки...! Вот уморушка! Мы открыли в Москве. Хи-хи! Бесплатные ха-ха! Курсы смеха!»

...Приближался рассвет. Косарев ткнул кулаком Аблакулова и сказал: — Заспался, джура.

Милиционер вскочил, стал одергивать гимнастерку. Она сидела ладно, подчеркивала гибкую талию, оттеняла красивую кожу лица.

— Вольно, — Косарев обернулся к Глубинному.

Огромный белорус тер кулаком глаз.

— Бойцы... облепиху вам в спину. Бандиты в юбках снились...?

...Сегодня Косарев сам разрешил помощникам вздремнуть. Ночью они были не нужны. Только он, начальник ГПУ татарин Гарипов, командир боеучастка Смышлевич знали об операции, которую проводил оперуполномоченный Бухарского ЧК Симон Драбеш.

Драбеш — бывший каганский врач — нагрянул неожиданно, запыленный, с потресканными губами. По данным из банды Токсаба в ночь на 30 мая 1922 года в Касым-шейхе должна состояться встреча агентов курбаши со старшинами махаллей и передача драгоценностей для борьбы с большевиками. Задание Драбеша — опередить посланцев курбаши, назвать пароль, убедить старшин выдать ему золото.

Зная язык, Драбеш пошел один — лица местных со-  
трудников примелькались. Конечно, риск. Но...

Мысли прервал скрип открывающейся двери. На по-  
роге появился часовой, охранявший старую крепость.  
В длинной шинели с широкими петлицами, в остроко-  
нечной шапке он был схож с лубочным Алешей Попо-  
вичем.

— Что у тебя, Петухов?

— Старик, товарищ Косарев, кажись, до вас.

Густые брови поднялись. Ожидал Драбеша, явился  
другой.

— Ну, зови, зови...

Секунду спустя, в комендантскую, оглядываясь, за-  
шел Наби-калон.

— Садитесь.

Старик потоптался, не принял предложение и на ло-  
маном русском, попеременно с узбекскими словами,  
начал говорить:

— Емон... пилохо, начальник... Одамнэ ульдергян...  
убийт...

— Какого Одама? — предчувствие холодными щу-  
пальцами перехватило Косареву горло:

— Аблакулов! Спроси, что случилось.

Ачил по-узбекски быстро задал Наби-калону не-  
сколько вопросов. Оживившись, старик стал что-то  
взволнованно говорить.

— Андрей Викторович, возле его дома ночью убит  
человек.

— Кто убил — видел?

— К трупу подъезжали двое конных, что-то иска-  
ли.

— Спроси, где он живет. — Косарев сел за щерба-  
тый стол. Хрумкнула кожаная куртка.

— Касым-шейх, — сказал Наби-калон.

...Невысокий, в стоптанных крагах, в черном галифе, в желтой кожанке — Косарев, задыхаясь, бежал по городку. Вскидывая карабин, неуклюже топал Глубинный.

Спустя мгновение встрепенулся Аблакулов, понял: случилось необычное. Выскочив из комендантской, метнулся под навес, где стояли кони (Косарев и Глубинный забыли о них).

Увидев Аблакулова на коне, Косарев прокричал:

— Ты, парень, — к Смышлевичу и Гарипову — в ревком. Скажи им: Драбеш из Бухары убит.

...Раджаб Гарипов, Алексей Смышлевич прибыли к Касым-шейху, когда Драбеша положили на неуклюжую арбу.

Усатый арбакеш угрюмо стоял рядом, ожидая команды.

Сняли форменные фуражки. Арба, поскрипывая огромными колесами, медленно двинулась по старым и запыленным улицам Кермене в эмирскую резиденцию.

У базара задержались: машкопы-водоносы, дежкане, гуляки-ринды пришли посмотреть на убитого большевоа. Аксакалы стояли в стороне — любопытство для мусульманина — тягчайший из пороков...

Вечером за крепостной стеной венгра Драбеша похоронили. ГПУ арестовало не успевших скрыться старшин и ювелира Абохая.

#### IV

В кишлаке Лойли, куда прибыл Омар с напарником, дым стоял коромыслом: Токсаба затеял очередной той. Горели костры, жарилась баранина. Ржание лошадей, гортанные крики напившихся бузы и мусалласа джи-

гитов, окрики сотенных, бряцание оружия — все слилось в единый многоголосый шум.

У старого карагача — пьяная ссора; сотник с пунцовыми глазами срезал кинжалом ухо проигравшему в споре. Проигравший выл, разбрызгивая кровь. Сидевшие кружком джигиты закатиисто смеялись.

Ближе к двору вели разговор о невесте курбаши: толстый, губастый малый, облизывая жир с грязных пальцев, говорил сипучим голосом:

— Хороша, мца-а, мца-а... Артык-бай пуще глаза берег несверленный жемчуг.

— От нашего курбаши гнилую фисташку не утаишь. Хи-хи... Пророк сказал: «Женщины сотворены для мужчин...».

Вмешался в разговор третий:

— Мулла Ходжа женился на молоденькой. «Вот, — говорит она, — десять орехов, разгрызешь — стану твоей». Мулла сунул один в рот, долго валял его, стал считать: «Ешли ражгрыжу один, оцтанетця только девять...».

Губастый завизжал от смеха, потом крикнул:

— Но, но, но... Мулла...

Омар угрюмо ехал мимо кострищ, праздничных да старханов, не очень завидовал гулявшей братии. Мысли щипцами охватили голову: Токсаба жесток. Как встретит неудачника?

Дом Артык-бая. Под широким айваном — скопище народа. Выводят в белых шелках невесту.

На высокий помост вскочили два джигита с карнаями. Плавнов поворачивая трубы, начали рвать гортанные звуки. Казалось — эхо древности ворвалось в кишлак. Потом на помост взобрался старик с подслеповатыми глазами. Долго и важно молчал, уперев взгляд в носки вычищенных ичиг, встрепенувшись,

заиграл на дутаре бухарские макамы: Бузрук, Рост, Навои, Дугох, Сегох, Ирак.

Омар пробрался ближе к помосту, где на шелковых одеялах восседал курбаши. Фиолетово-синий загар лоснился у него на веках, за мочками толстых ушей, на подбородке.

Токсаба был задумчив. Курбаши Мулла-Каххар и Азим-Ходжа вместо свадебного подарка прислали ему весть: «В Бухару прибыл Орджоникидзе для разработки практических мер по разгрому армии Восточной Бухары, командовал которой Энвер-паши. Ожидай экспедицию красных частей и отрядов милиции...»

Улучив момент, Омар дал знать о себе.

Заметив помощника, курбаши встрепенулся, провел узкими ладошками по лицу сверху вниз и кивком головы пригласил пройти в дом. В доме Токсаба снова устроился меж подушек и, круто повернувшись к Омару, спросил:

— Привезли?

Пестрая радуга шелка и атласа закружилась перед глазами.

— Нет, таксыр, нас опередили..

Токсаба неуклюже спрыгнул с супы, напалз на Омара, прижал к нише, где тускло светились чайники, пилалушки и кувшины.

— О, Аллах, ты определил мне в слуги одних ублюдков?!

Чутьем зверя он чувствовал крах и уже продумал план бегства в Афганистан. Золото, золото, а не Энвер-паши, — вот его защита.

Забыв о солидности, курбаши закричал, вцепившись пальцами в халат Омара:

— От-да-ай!

— Сокровища у большевеев, таксыр. Мой свидетель  
— Садык.

Омар тихо отстранился от курбаши. Рука заученным движением соскользнула к поясу, где ногу холодил тяжелый маузер. Поникший Токсаба угрюмо бросил в сторону дверей:

— Приведите...

Втолкнули в мехмонхану Щуплого, которого Омар назвал Садыком. Глаза Щуплого уже блестели от выпитого вина. Щуплый упал на паласы:

— Крови жаждешь! — и сразу же поник от торопливого выстрела Токсабы.

— Таксыр, в нашем стаде завелась паршивая овца. Нас предали...

Пятясь к двери, Омар тяжело вывалился наружу. Народ разбежался, услышав выстрел, и только в конце кишлака продолжалась гульба.

Осунувшись лицом, Омар спросил, где посланник Энвер-паши. Ему указали на казахскую юрту из серого войлока.

В глубине юрты на перевернутом казане сидел молодой офицер во френче из английского сукна: оливковое лицо подчеркивали тяжелые брови, над верхней губой — стрелки черных усов.

Омар упер в его плечо дуло маузера.

— Ты большевой?

Офицер отстранился.

— Кто тебя подослал? Сволочь, ты...

Произошло непонятное. Незаметное движение рукой сделал инспектор Энвер-паши, но Омар уже лежал на земляном полу юрты, корчась от боли в правой кисти.

Офицер подобрал маузер, вынул обойму с патронами, кинул безвредную сталь под ноги Омара.

— Убирайся...

После убийства у Касым-шейха прошло два тягостных дня. В городке потолковали о случившемся и вскоре позабыли — слишком часто убивали теперь по ночам.

И все же городок жил каким-то предчувствием, ждал чего-то. Мятые, уродливые кибитки, сакли которых безобразили зияющие дыры дымоходов, чудовищные узлы тутовников набрякли тревожным молчанием. Молча сновали водоносы от калитки к калитке. Аксакалы заползли под густые кроны карагачей, в сырые склепы чайхан.

...Городок Кермене стоял в семидесяти верстах от Бухары, почти в двухстах от Самарканда, в Маликчуле. В пяти верстах к юго-востоку маячило, сооруженное строителями Российской империи, каменное здание железнодорожного вокзала с кривой водонапорной башней. Белели корпуса хлопкоочистительного завода братьев Позднаньских.

На севере, за стеной, кипел Зарафшан. От него одна дорога тянулась в Нурату, к мраморным вершинам Актау. Вторая, ныряя в саи, сухие русла рыжего предгорья, — забирала западнее — в Кенемех.

Такой была местность, где служил Косарев. Тревога, заполнившая дома и души людей, его обходила. Косарев был занят бесконечными расспросами старшин.

Наконец, трое из них развязали языки: в Кермене действует контрреволюционная организация зятя эмира Абду-Расул-хана. Цель — создать новые отряды для Восточной армии Энвер-паши, собирать ценности для закупки оружия. Боевые группы уже организовали покушение на Файзуллу Ходжаева, подо-



жгли кинотеатр в Бухаре. Попытка помочь отряду Токсаба — очередное дело.

Потом старшина Ата-Ходжа добавил, что собранные драгоценности у них пропали. Токсаба их не получил.

Это была новость. Косарев доложил о сказанном старшиной Гарипову, и следствие снова зашло в тупик. Если сокровища не попали к Токсабе, думал Косарев, где они? Не мог же Драбеш за короткие минуты спрятать или передать их кому-либо другому.

В казарме кавалерийского эскадрона, где жил Косарев, было в тот день прохладно и тихо: бойцы выехали за крепость отрабатывать конные атаки. Где-то за тусклым окошком ворковали горлинки. Там был зной, солнечное безмолвие.

Косарев поднялся с нар, обулся, вышел на широкий двор, скрипнув дверью. Бачок с водой прятался под навесом. Холодные струи змейками скользнули с губ на гимнастерку, приятно освежили грудь. Сзади подошли. Обернулся — Аблакулов.

— Чего крадешься?

— Много думал... — милиционер был встревожен. Губы под тонкими усами мелко подергивались.

— Будешь кушбеги республики, — усмехнулся Косарев. — Покурим?

Аблакулов отказался.

— Ладно, — затягиваясь, промычал Косарев. — Чего караулишь?

— Наши баи не обманывают, командир. Золота у них нет.

— Значит, я его спрятал?

— Не спрятал, командир. В Касым-шейх идти надо, искать.

— Тогда пойдем. — Косарев выбросил докуренную папиросу, направился к воротам.

...И снова городок молчал зловещей тишиной. Купались в зное редкие тутовники и чинары. Пыль садилась на лицо, как на мельнице — быстро и густо.

Завернули к соборной мечети, где было сумрачно и сыро. Постучали в калитку медным кольцом.

— Кто там? — и сразу же широкая подобострастная улыбка. — Об-бо! Товарищ начальник. Милосердием одарите наш скромный чертог...

Имам соборной мечети Азат-ходжа неуклюже посторонился. Косарев шагнул в сад, за ним Аблакулов. Посреди сада на камнях стоял большой котел, из которого струйкой тянулся пряный аромат плова. Под тенью чинары виднелся айван, застеленный коврами и паласами. Сидели на нем Гарипов, кази Мулла-курпа и незнакомец. Лица лоснились от сытной пищи и выпитого.

Гарипов головой кивнул в сторону имама: «Служба службой, обычай обычаем».

Косарев присел, выпил пиалушку предложенного чая.

— Любезно, любезно прошу не обидеть, — имам придвинул к нему чашу с пловом. — Голод злит, сытость благоразумит...

— Почтенный ходжа! — рассмеялся Гарипов, — Наш эмир спросил у подданных, отчего у него живот толстый. Один сказал! «От рождения», второй — «От болезни». А третий рассудил, как вы: «У властелина много ума. Он не уместается в голове, потому и спустился в живот». Ха-ха-ха!

Имам взобрался на мягкие курпачи:

— Истинно... истинно... Великий Насыр-и-Хосров в трактате Джами-алхикматайн вывел священным калямом: «Познание чувственных наслаждений дает познание сокровенного смысла...».

— Истинно, истинно, — закивал кази.

Гарипов повел Косарева в глубь сада.

— Традиции. Да, восточные традиции! Прежде всего, они! Революция не отвергает их! Мы — передовые люди республики — должны бороться за национальную нравственность.

Замерли от зноя листья чинара. Жарой несло от нагретого солнцем дувала — высокого, глухого, как тюремные стены. Косарев подозвал Аблакулова:

— Пошарь, поговори, я послушаю...

Масляной походкой приблизился имам.

— Не желаете усладить слух благостными звуками саза?.. Отдохновение для души и... плоти...

Гарипов продекламировал:

— Теперь, когда ты волен, встань, поди.  
На светлый пир любовь свою веди,  
Ведь это царство красоты не вечно,  
Кто знает, что там будет впереди?

...Пройдя в мечеть через ханаку юродивых, милиционер Аблакулов остановился в нерешительности. Было тихо. Жженный кирпич дворика нагрелся, дышал жаром. На высокой жерди, воткнутой в старую могилу, болтался конский хвост, сверкала на солнце пятерня — шиитский символ хозрата Али, убиенного зятя пророка Мухаммада.

Переборов страх, Аблакулов тихо обшарил кельи, гробницу отца эмира. По винтовой лестнице узкого минарета вполз наверх, к стрельчатому окну, крадучись, как кошка, просмотрел, впиваясь в каждый камень, вспененную куполками нижнюю крышу мечети.

Во дворике завозились:

— Агу-зе, билляхи... Кто тут?

Милиционер Аблакулов прижался к горячим камням крыши. Глаза слепила майолика голубого купола.

— Нуритдин, ты вычистил котлы, к вечеру все под-  
готовь. — Старческий голос, продолжая что-то нашеп-  
тывать, удалился. Переждав мгновенье, Аблакулов  
спустился назад. Неудача раздосадовала. Что он ис-  
кал в мечети? Золото? Или свою глупость? Вчера здесь  
молились сотни, тысячи...

Обойдя дувал, он оказался в курганче Наби-калона.

— Клянусь аллахом, все сказал... Уходи. — Наби-  
калон не пустил его в дом.

— К нам гости? — послышался девичий голос. А  
вскоре высунулась его обладательница. Узкое моло-  
дое лицо. Глаза возмутительного лукавства и реши-  
тельности. — Отец, не забудь восточный обычай...

Наби-калон сменил гнев на милость. Шаркая сто-  
птанними ичигами, повел парня в дом. На бухарском  
сундуке чадил заправленный маслом чугунный чирок.  
В нише белели две фарфоровые пиалушки. Пахло сы-  
рой глиной.

— Отец, твоя седина — твоя мудрость.

Наби-калон протянул милиционеру пиалу с чаем.  
Отпив глоток, Аблакулов поднялся:

— Вы мусульманин, я мусульманин. Душманы уби-  
ли большевая. Он был наш друг.

Наби-калон покачал головой:

— Мертвые не воскресают.

— Помогите, ота-джон. Большевой нес золото... Оно  
пропало, исчезло, как в воду кануло...

Снова, как от выстрела, вздрогнул Наби-калон:  
ночь, вспышка, падающий человек, и что-то черное  
плюхнулось в арык... Торопливо надевая старые ка-  
лоши, он заковылял к выходу:

— Пойдем, аскер, там он, там...

...Покинув имама Касым-шейха, Косарев застал у  
себя в крепости радостного Аблакулова. На столе пе-

ред ним лежала коварная ноша Драбеша — монеты, фермуары, ожерелья, кольца, золотые пряжки, булавки, шпильки...

Привели ювелира Абохая — маленького человека с большими выпуклыми глазами на стертом лице. Он юрко запрыгал вокруг стола:

— Дюваль... Васемнадцатый взк! Господа, — брошь. Пфистер! Петербург! — заплакал...

Через час Косарев был у председателя ревкома Абдурашидова. Тот долго совещался с Гариповым — пришло известие о нападении Муллы-Каххара на кишлак Харгуси — потом принял решение.

— Ценности увезите в Самарканд. Под Гиждуваном Мулла-Каххар, восемьсот сабель, не пропустит в Бухару... Несете государственную ответственность.

В сопровождающие Косареву выделили Смышлевича, Петухова, Аблакулова, Глубинного. Занятые приготовлениями, они остались на ночь в крепости.

## VI

...Еще не вспыхнул в утренних лучах купол Касымшейха, не крикнул муэдзин с минарета, а маленький отряд Косарева тронулся в путь, в сторону Самарканда. По городку ехали скрытно, стараясь быть незамеченными. Ручные пулеметы навьючили вместе с провиантом на запасную лошадь. Запломбированный мешочек с драгоценностями вложили в металлический ящик из-под патронов, притороченный к седлу Аблакулова.

Сразу за городком выглянуло солнце, пригрело. Утренняя вялость исчезла. Вскоре на расхристанной арбами дороге встретили путников — Наби-калона с дочерью.

— Ее зовут Мухаббат, — Аблакулов по-узбекски поздоровался с путниками: — Ассалом алейкум!

— Ваалейкум ассалом, — ответил Наби-калон.

— Куда путь держите, отец? — спросил старика Косарев.

Наби-калон назвал кишлак Зиатдин.

— Мы в долгу. Пойдем, отец, проводим.

Обливаясь потом, оглушенные тишиной степи, шли и ехали под безжалостными лучами июньского солнца. К обеду за кронами пирамидальных тополей показались плоские крыши Зиатдина. Наби-калон с дочерью попрощались с провожатыми и свернули к его пыльным приземистым садам.

Косаревцы встали на привал у старого карагача.

Удивительная тишина встретила Наби-калона и Мухаббат на узких улочках кишлака. «Зной загнал людей в дома», — подумал старик. Подойдя к дому тетушки, он постучал палкой в калитку. Слава богу, жива, у тандыра хлопочет...

— Как живешь, Нигор?

— Наби! Проходи. Хорошо живу. Доченька, дай я тебя обниму. Вспомнили старую...

Прочитали фатиху — благодарственную молитву.

— Что, Нигор, тихо в кишлаке? Или мулла умер?

— А ты иди сюда, — тетушка поманила Наби-калона к дувалу. — Взгляни...

Наби-калон скользнул взглядом по гребню дувала и обомлел от страха. На широком дворе кишлачного амина сгрудились с полсотни лошадей. Суетились, спешили люди, с ног до головы увешанные оружием.

— Душманы, — выдохнул Наби-калон.

— Они, — подтвердила тетушка. — И твой Мансур, проклятие ему на голову, там — с ними, френч, инглиз...

— Сын... — старик пошатнулся, — душман!

Не видя ничего перед собой, Наби-калон выбрался за калитку. Вот и окраина кишлака. Вдали — карагач косаревцев.

— Стой! — окликнул чей-то бесцеремонный голос. Подоткнув руками халат, Наби-калон неуклюже побежал.

— Сто-ой! — еще раз крикнули за спиной. Щелкнул затвор, оглушенный близким выстрелом, не чувствуя уходящим сознанием боли, старик рухнул в мучнистую пыль дороги.

Услышав выстрел, Косарев понял грозящую им опасность. Если в кишлаке воины Энвер-Паши, им не уйти от погони: порубят, перестреляют, побьют в открытой степи. Занять оборону? Но противник на рожон не полезет, возьмет измором. Косарев лихорадочно думал: сделать вид, что ничего не услышали. Снять пулеметы, выманить в открытую атаку, встречным огнем — в лоб...

Дал команду скрытно спрятать пулеметы за карагач, всем оставаться на местах, коней отогнать в степь. До первых мазанок — чуть больше версты. Если он не ошибся, через минуту-две из кишлака выскочат аскеры из Восточной армии Энвера-Паши.

Так и случилось. Поверив, что косаревцы не готовы к встрече, душманы, как называл их Наби-калон, выскочили из узких улочек, растекаясь лавой, открыто ринулись к ложине. Пятьсот... Четыреста метров. Теперь этот катящийся клубок смерти ничем не остановишь... Видны перекошенные лица, жилистые шеи. Дупшераздирающий «Ур-р» полсотни голосов.

Триста... Двести метров... Сто пятьдесят... Сто! Резкий стук пулеметов перебил удары сжавшихся сердец. Нападавшие смешались. Рухнули несколько

всадников. Заржали кони. Предсмертные выкрики слились в рев, уходили к небу, сгибали тонкие стебли кровью окропленных трав.

Наконец, оставшиеся в живых сумели поворотить коней назад, к спасительным дувалам Зиатдина. Бледные, раненые, обессиленные, косаревцы тоже решили уйти в темнеющую степь.

## Глава вторая

### I

...Огромное солнце лизало на западе пыльную кромку горизонта. Небо мутнело, как прихваченное сыростью зеркало. Думалось об уюте, о пахучей, тминной лепешке, маленьком глотке зеленого чая. Но вскоре в воздухе повисла неясная тревога. Косарев ощущал ее физически: она сковывала тело, назойливо сверлила мозг, резала напряжением глаза. В верстах двух-трех от отряда вдруг замаячили тени всадников. Они то пускали лошадей вскачь, то замирали как вкопанные на гребне разрушенного кургана. На сближение неизвестные не шли, кружили вокруг да около, словно волчья стая, рыскали вдоль оврагов, по саям: то ли замышляли что-то, то ли вынюхивали, куда направляется горстка измученных людей.

Со стороны кишлака послышался лошадиный топот: на пригорок выскочил одинокий всадник и, осмотревшись в сумерках, пустился вниз, к косаревцам. Остановившись возле отряда, всадник сполз с лошади, завалился на бок — до слуха донесся высокий, с придыханием, женский плач.

— Мухаббат...



Аблакулов за плечи приподнял с земли всадника.

— Что с вами? Где отец? В чем дело?

Дочь Наби-калона, задыхаясь, рассказала о смерти отца, решившего предупредить косаревцев.

— А потом они... убили тетушку... Я спряталась... Они ушли, я догнала вас...

Теперь обстановка была предельно ясна. Их преследуют старые знакомые. Оказавшись под лобовым обстрелом, они изменили тактику: сбивали с прямой дороги, перекрывали людную долину. Косарева заставляли отклоняться на север, прижиматься к адырам, похожим на лунные кратеры, ближе к Нурагинским горам.

Разгадав маневр, отряд попытался выправить курс вправо — в долину. Душманы вновь вынырнули из-за развалин средневекового городища, подсккали почти на версту, выстроились цепью на пригорке, замерли, как истуканы.

— Какого черта! — выругался Петухов. Выхватил саблю и погрозил молчаливым призракам.

«Неспроста увязались, — подытожил спектакль в степи Косарев.— Пронюхали о драгоценностях?!». Подскакал Смышлевич:

— Слушай, брат, — только в горы. Другого выхода нет...

Выхода не было. Надо уходить в горы, карабкаться по скалам, пробираться по ущельям, обмануть, запутать след, биться насмерть.

## II

Ночью в горах неудобной кажется планета... Звезды и первозданная тишина леденят душу. Черное пространство пронизывает сердце холодным мечом одиночества. Прислушаешься на миг: сквозь разме-

ренный перестук лошадиных копыт почудится свист пронсящейся в космосе отяжелевшей во сне Земли. Бесконечно малой песчинкой представишь себя в холодной утробе Вселенной.

Но крикнет птица, зарычит зверь, всхрапнет лошадь — и неприятное ощущение уходит. Услышишь рядом теплое дыхание друга — и миг обретешь утраченное чувство реальности. Рядом любимая. О, милая, будь всегда рядом...

...Ночью дорога в горах нелегкая. С опаской объезжаешь темнеющий впереди выступ, а он метров за сто от тебя. Журчит под ухом ручеек. А спряталась жизнеспособная струйка далеко внизу — в глубокой расщелине, в каньоне и ущелье дикобразов.

...Как барс, видит ночью Аблакулов. Тонкий голос его предупреждает о повороте, спуске, подъеме. Ароют, потряхивая гривой, осторожно переступают среди острых камней.

Скалы, скалы... В сантиметре от виска глухая каменная стена: размытая, почти слилась с темнотой. Навстречу ударил затхлый, пахнущий сыростью, неспелой бадамчой воздух — въехали в какой-то каньон.

— Дьявол! — расколочил тишину Петухов. — Шевели... Шевели...

Впереди встали. Под грибовидной скалой поджидали Аблакулов, Смышлевич, дочь Наби-калона, Глубинный. Худая луна высвечивала усталые лица, бросала резкие тени.

Подъехав, Косарев спросил, в чем дело. Оглядел оценивающе спутников.

— Будем привал делать, — ответил Аблакулов. — Это ущелье, каньон дикобразов и плоскогорье Джиноты, отца дьяволов. Так старики зовут. — И показал рукой вдоль каньона. Никто ничего не увидел.

— Здесь каменные люди, овцы, звери, птицы...

— Чего-о?

— Старики говорили: Хозрат-Али попросил у бая клочок шерсти. Бай отказал, а к утру весь его род, весь скот, тюки шерсти — в камни превратились. Это святое место — каданджой. Ночью душманы сюда не придут.

— Хорошо, — согласился Косарев, — выбери место. Аблакулов остановил Ароята у маленького ручья. Здесь каньон круто сворачивал на восток и делился на два рукава, обтекавших гряды невысоких вершин.

Над ручьем под звездами нашли россыпь огромных валунов — то крутых, как бараньи лбы, то плоских, как шляпки шампиньонов.

— Сюда! — бросил в темноту Аблакулов.

У огромного валуна, выхваченная прожектором луны из тьмы, металась гривастая голова Ароята. Его хозяин, как привидение, вывалился из каменной стенки.

— Пещера!

Зажгли огонь. Валун нависал высоко над ручьем, образовав под собой удобные гроты. Ветра продули два лаза и маленький желобок — оконце. Обосновавшись, пустили лошадей к ручью и выставили постового. Косарев проверил оружие, приказал отдыхать, сам выполз наружу. У него начиналась лихорадка. Сел на теплый камень, закурил.

В неуютном каньоне, ощетилившемся смутными силуэтами скал, под приступы малярии вспоминалось ему детство. Из далекого далека услышал Косарев бессильный выдох отца: «Помираю, сына»... Увидел сгорбившуюся к сорока годам мать: машут морщинистые, как прошлогодняя картошка, руки вослед, а ему чудится — белые лебеди перебирают крылами...

Встал в памяти Оренбург — столица ковыльных степей: два собора, мужской — Успенско-Макарьевский монастырь, женский — Успенский, десятки церквей, Неплюевский кадетский корпус, просообдиральные мельницы Брагина, Валявина, паровые мельницы Покровского, товарищества Джининой, Зуборева — четыре миллиона пудов пшеницы в год! Лучшее в Европе зерно! А сестренка Женя померла с голоду...

И снова — Оренбург: узкие улочки рабочих слободок, пыль, грязь, навоз, огромные луны подсолнухов в огородах, мастерские паровозного депо, бутылка молока, припасенного на обед. В Оренбурге и началась его революция. Маевки за Меновым двором в двух верстах от города, кулачные бои с кадетами, листовки. После Октября — бег дутовских частей, от казачьего сотника пуля в бедре, Туркестанский фронт, штурм старой Бухары, сотня отдельного фронтового отряда Клементеева...

Долго сидел Косарев в темноте с открытыми глазами, перебирая в памяти минувшие годы, людей, с которыми сводила судьба. Да много-то и не припомнилось ему. В двадцать три года — большая ли жизнь за плечами? Все казалось — в стороне от великих дел. Все печалился, что не имеет возможности в открытую биться с эксплуататорами. А кто напридумал этих эксплуататоров, а? Зачем они здесь, в Азии? Революция! Всеобщее счастье! А пока... слезы пока... Вот он чекист, а позволяет себе так думать... Трудно дается выдержка. Надо учиться, а времени нет. И не будет — он знает.

Давно перевалило за полночь. Опрокинулся ковш Большой Медведицы, и кажется, кто-то, держа его невидимой рукой, пытается краем зачерпнуть тепло атмосферы. На дне каньона звенела о каменные струны речушка, прядали ушами пасущиеся кони.

Лихорадка бьет... Косарев полез в карман кожанки за хиной. Пусто. Не унять ничем ломоту в костях.

...Болезнь отступила, когда на востоке рассеялась мгла. Он поднялся с остывшего валуна, размял затекшие ноги и пошел к пещере, где спали Глубинный, дочь Наби-калона, Смышлевич, Петухов.

Но едва Косарев сунул ногу в узкий лаз — громкий выстрел расколол тишину. Вздрогнули и стали быстро угасать звезды. Десятикратным эхом взревели скалы. Выполз откуда не возьмись дикобраз, выскочил из норы варан и застыл, полный ужаса.

У ручья, куда они прибежали, было тихо. Мятая фуражка с малиновой звездой вбирала тканью влагу воды. — А-бла-а-а-кулов! — закричал в утреннюю муть Косарев. Молчание. Не найдя тропинки, побежали вдоль русла.

— А-бла-а-а-кулов!

— Трах-тах-тах, — ответили карабины.

...И они упали — кто в воду, кто на камни, тяжело дыша. Петухов сорвал с головы буденовку, выдвинул на штыке за камень. Склоны каньона напротив изрыгнули короткие пучки пламени.

— К пещере!

Косарев сделал три огромных прыжка и прижался к холодному выступу валуна. За ним Петухов, Смышлевич. Втроем стали палить из винтовок и револьвера навстречу склонам, дали перебежать к валуну Глубинному. Набежавшее утро подсветило каньон. И тогда они вздрогнули, пораженные открывшейся взору картиной. Со всех сторон их окружили каменные чудовища, сказочные дворцы, замки, колонны, башни, мифические персонажи...

Тысячелетиями природа творила в этой огромной каменной мастерской свои шедевры. И сзади, и по бо-

кам, и спереди напирала на людей каменные колоссы: с востока на самый край каньона свесилась огромная черепаха размерами с эскадренный миноносец, застыл в угрожающей позе гигантский медведь, пригнулась, облизывая раненую лапу, десятиметровая собака, приготовился к атаке чудовищный гриф. Скальные навесы вытянулись, изогнулись, переплелись, как щупальца осьминога, зияли вертикальными и горизонтальными воронками, трубками, желобами, ячейками.

Это была «страна» каменных идолов, о которой говорил Аблакулов. Но идолы не угрожали Косареву. За каменными колоссами были люди. Надо узнать, кто они. Куда делся милиционер? Где лошади, седла, поклажа?

А скалы молчали, пока совсем не ворвалось в каньон солнце. Ворвалось, ослепило, зажгло, закололо острыми пиками лучей, оживило редкие кусты гребенчука, сырые расщелины, белую кипень маленького водопада.

Медленно вырастали из-за валунов мятые бутоны чалм — грязно-белые, красные, зеленые. Росли, как грибы, вслед за ними тягуче выглядывали из-за камней настороженные глаза. Тянулись гладкоствольные бухарские ружья-мултуки.

— Не стрелять, — шепотом выдавил команду Косарев. — Сколько их?

Их было много. Полусотня. Ползком пробирались от валуна к валуну, все ближе к повороту ущелья, к пологому склону, усеянному бараньими лбами, в некоторых местах покрытыми древними рисунками, выполненными красной охрой. Брали полукругом. Окружить не могли — Аблакулов правильно выбрал ночью позицию.

— Пулеметы, — голос Косарева сорвался от напряжения.

— Есть! — Смышлевич прильнул к прицелу ручного пулемета.

Учув опасность, чалмы залегли. И снова молчание. Почти на час. Потом громко и решительно:

— Каршэлэг кильманглар — не сопротивляйтесь! Верните золото. Жизнь сохраним.

— Тррр... ту... тук... тук... — неторопливая очередь «шоша». Умолкли. Вспомнили вчерашнее.

Тихо перепархивают с утеса на утес какие-то птицы. Дикобраз куда-то уполз, а варан в той же позе — на камне, выносливый потомок динозавров...

— Допусти вщу к ноге — на голову взберется... Надо бомбой...

Косарев погрозил Глубинному кулаком из-за своего камня, И вдруг:

— Во имя бога и его тени на земле...

Даже архар, прежде чем рвануться вперед и сокрушить другого в броске, сначала отступает назад и примеряется. Они бросились валом. С единым ревом: «Алла, ур, ур» — прыгнули в надежде устрашить, в мгновение ока очутиться на скале, порубить, искромсать шашками упрямые тела в гимнастерках, отрезать головы, побросать в хурджуны как воинскую добычу, выворотить руки, топтать, топтать ненавистные красные звезды.

Но пятерых оставили на валунах... Убитых и умирающих. Отступили под огнем Смышлевича. Затаились...

Никто не увидел стервятника, взлетевшего над раскаленными глыбами каньона. Не заметили люди, как свесился со своего утеса глупый, любопытный варан, теперь уже насквозь прошитый горячим свинцом.

...К концу дня душманы еще три раза атаковали не-

приступный гарнизон Косарева. Новые трупы оставались на горячих камнях. Перед самой темнотой со стороны нападающих появилась одинокая фигура. Дойдя до водопада, помахала белым платком — «переговоры».

Косарев послал навстречу Петухова. Тот вскарабкался к пещере с посланием в руках. Парламентер остался ждать у водопада. «Когда сгибается лук — это приносит только несчастье. Когда не договорятся двое — в мире на два дурака становится больше. Вы нам золото, мы вам вашего человека. Он просит. Вассалам! Омар-ходжа-шигаулы».

— Дай сюда. — Косарев взял, почти вырвал из рук Петухова записку.

— Пиши: «Контра, брешете! Красноармейцы не предают. А золото — выкусите! Командир КОСАРЕВ».

О, как слепа тропинка обстоятельств. Посылая ответ с Петуховым, Косарев не знал, что ящика с драгоценностями у них уже нет. И разве мог Омар, ожидавший парламентаря, догадаться, что плод его вожделений приторочен к седлу карабаира, отбитого вместе с другими скакунами ночью.

Послал Косарев Петра Петухова на переговоры, но, прочитав ответную записку, парламентер выстрелил в спину возвращающемуся красноармейцу. Упал Петухов на острые камни. Небо расколосось в глазах, вырвалось из красной груди «мама!» За ним рухнул парламентер.

Настороженно ночь входила в страшное ущелье, где весь день убивали.

### III

... Базарные слухи, к несчастью, сбылись. Когда косаревцы были далеко от городка, со стороны Сармышья



по Нуратинской дороге ворвался Токсаба. Его ватага, растекаясь по узким улочкам, начала крушить и жечь. Нукеры набивали хурджуны барахлом, рубили защищавших добро, вздергивали на карагачах, сажали на колья...

На пустынной площади базара, готовясь к предстоящему зрелищу, репетировал на высоко протянутом канате мальчик-дорбозчи. Худые руки трепетали по воздуху. Подскачивший на коне бандит перерубил саблей канат на блоке, дорбозчи сложил ладони вместе и стремительной ласточкой метнулся с семиметровой высоты вниз...

У старой крепости Токсаба был остановлен полуэскадром красноармейцев. Рубились тяжело, молча. Затем большевики закрылись в крепости вместе с отделением милиции, аппаратом исполкома, ревкома и ГПУ. Сотня Омара предприняла штурм, но прицельный огонь отбросил ее на узкие улицы кварталов-махаллей.

Осажденные держались еще около часа. Потом ворота крепости раскрылись; Гарипов и пять милиционеров вывели связанных защитников крепости во главе с председателем исполкома Абдурашидовым. (Младобухарец Гарипов носил маску революционера. Перед лицом смертельной опасности сбросил ее).

...Великое злорадство охватило Омара, когда среди пленных он увидел резидента Энвер-паши, исчезнувшего из лагеря. Его подвели к курбаши. Имам мечети хлопнул ладошками по ляжкам:

— Оббо! Мансур — сын нищего Наби!

Человек, которого называли Мансуром, отрешенно глядел перед собой. Френч был изорван в клочья, волосы слепились в сгустках потемневшей крови.

— Где золото? — Омар взмахом камчи вырвал с его плеча узкий плетеный погон...

— Где?!

— Оставь! — Токсаба нерешительно протянул руку в сторону инспектора. — Разберется Энвер-паша.

После казни защитников крепости Омар по приказанию Токсабы выдвинулся к железнодорожной станции, вдоль разрушенных линий коротким путем пришел в Зиатдин и устроил засаду Косареву.

Отбив золото, он должен был отправить его к Токсабе, сам через Тахта-карача уйти с пленным инспектором Энвер-паши в Матчу.

Матча, Гиссары — родина! Желанное приказание дал ему Токсаба. Он выполнит его по-своему. Слишком долго скорпион несчастья преследует Омара. Повиноваться тупому полковнику эмира, просить милости... Он сам мог миловать и жаловать, приказывать и указывать. Он сам хочет статного карабаира с яркендским ковром на крупе, поклонов аминов и аксакалов. Он сам первым должен пробовать мешхедские вина, ласкать шелковистые груди юных наложниц. Он, он, он!

...Не все желания сбываются. Мансура — личного врага — они зарубили вместе с его объявившейся тетушкой в Зиатдине, а Косарев — ушел. Косарев бьется. Косарев заманил его в этот ужасный каньон и перестрелял половину сотни.

#### IV

Освещенные пламенем костров, подстелив коврики-саджаны, душманы молились. Слова Молитвы летели мимо сознания Аблакулова. Он слышал тихую, печальную, неторопливую песню матери:

— В нашем доме дым и мрак.

Ой, гуль баг.

Рвется нить, тонка она,

Ой, гуль баг.  
Злится старая жена,  
Ой, гуль баг.  
Не желаю я другим,  
Ой, гуль баг.  
Горя, сходного с моим.  
Ой, гуль баг..

Аблакулов приходил в себя, и снова видел внизу бесившееся пламя костров, клубящиеся саваны дыма, согбенные в молитве спины..

По серпантину овечьих троп бродили кони: вынюхивали редкие пучки трав, у воды всасывали теплыми мочками губ пену урчащего водопада. Изредка танцующие лианы огня выхватывали из темноты контуры Арьята. Тогда Аблакулов бросал избитое тело о камни, впадал в небытие и снова пробуждался, вспоминая трагический рассвет у ручья.

Утром, подняв ручку древнего кувшина, он думал о дочери Наби-калона и шептал маленькому водопаду стихи, которые, кажется, написал сам Омар Хаям: «Да, задолго до нас ночь сменялась блистательным днем, и созвездья всходили над миром своим чередом. Осторожно ступай по земле! Каждый глины комок, каждый пыльный комок был красавицы юной зрачком...».

В это мгновение они прыгнули. Закидали халатами, придавили, придушили, вывернули руки... И лишь природная ловкость помогла ему выстрелить и предупредить тем самым об опасности других косаревцев. Но как слепо доверился он силе предания о горных духах! Что стоит осторожность, если она не предупредила заговор уходящей ночи! Простят ли ему, что не развьючил Арьята, не снял из-под кебанка ящик с ценностями?

Днем душманы его не трогали. Заломили руки, бросили обнаженного за высокий выступ скалы — на сол-

нцепек. Вечером, злые от неудачи, мстя за убитых, вспомнили, сняли, распяли на острых камнях, головешками выжгли на спине кособокую звезду. «Красный меджнун! Продался большевоям, кяфир, отступник... Торма — не живи!» Но плоскоголовый главарь сказал «товба — хватит». Его швырнули на кособокий пяточок карниза и снова забыли.

Молитва кончилась, душманы Омара потеснились к кострам, где булькало варево, загородили пламя. По склонам каньона вытянулись уродливые тени. Аблакулов почувствовал, как теплое дыхание сдувает с его лица каменные пылинки. Он приоткрыл глаза, напрягся, различил в темноте невозмутимую морду Ароята.

Вдруг заработала лихорадочно, превозмогая боль, отчаянная мысль: с пяточка до седла Ароята метр, не больше. Подкатиться к краю, свесить ноги... прыгнуть?

— Кель, кель... — шепотом позвал коня. — Прижмись к скале, ближе, ближе! — И снова повторял: — Кель, кель, подходи, подходи...

Ароят словно понял человеческие слова, развернулся на тропе. Аблакулов сполз в седло, обдирая раны, грудью придавил шею коня, стиснул зубами гриву, босями пятками задал шенкеля.

Конь, перебирая ногами, осторожно понес хозяина в сторону от уродливых теней и буйствующих костров. За водопадом, петляя, взобрался на знакомый склон. Там его ношу сняли люди и унесли в прохладную пещеру.

## V

...Раздался леденящий душу, тонкий, как детский плач, вой гиены. Она стояла возле Черной скалы, где

в пятнах красно-коричневой охры угадывался ее профиль, просвечивали очертания первобытного охотника и горного козла. Дочь Наби-калона склонилась над умирающим Аблакуловым. Пламя маленького костра высветила Петухова, накрытого шинелью, и Глубинного. Косарев смотрел на них, прислонившись к каменной стенке.

Вот они лежат перед Косаревым трое: Петухов, предательски убитый выстрелом в спину, Глубинный, тяжелораненый. Аблакулов — истерзанный единоверцами. Кто виноват? Командир! Подчиненные слепо доверяют ему свои жизни. А он?

На плечо тихо легла рука влезшего в пещеру Смышлевича:

— Молчат...

Косарев приподнялся, встал с камня, пригнулся, чтобы не задеть свод пещеры головой.

— Смышлевич, ты должен уходить. Утром будешь в Хатырчах... Там семнадцатый кавполк Павлова. Передашь по описи золото. Все... Выберешься по правому рукаву ущелья...

Смышлевич покачал головой.

— Не пойду, Андрей. Кому я в глаза взгляну потом?!

Косарев бессильно опустился на камни: не было желания возмутиться, заорать, выругаться, выгнать Смышлевича наружу! Он только тихо зашевелил губами: «При-ка-зываю» — и сразу же впал в забытьё.

Утром в стане противника поднялся переполох. Косарев видел, как суматошно метались внизу пестрые халаты. В поисках Аблакулова обшаривали скалы, щели, ниши, карнизы. Воистину, только святой Хызр — покровитель путешествующих в пустыне — мог совершить такие дела! Или архангел Азраил вместе с

душой унес в небо бранные останки одержимого бесами Красного Меджнуна!

Вскоре внизу утихло. Оставшаяся кучка душманов поползла к склонам, потом стала продвигаться короткими перебежками, хоронясь за камни, отлеживаясь, присматриваясь, прислушиваясь.

Косарев прижал пулемет к плечу. Ночь прошла без выстрелов, он их не слышал, — значит, Смышлевичу удалось выбраться в долину. Это его успокаивало: подспеет подмога, раненые получают помощь...

Когда «халаты» осторожно подобрались к воронкам водопада и стали по одному перепрыгивать речушку, он очередь уложил двух чалманосцев. Пыл атакующих остыл. Они укрылись за каменным «грифом», затаились, не решаясь продолжить наступление. Но это молчание слишком затянулось и Косарев стал готовиться к последнему бою... Что-то замыслили «халаты». О чем-то совещаются. Он не заметил, как из пещеры выполз Глубинный. Раненый белорус, кидаясь с камня на камень, остановился, пошатываясь, над каменным грифом.

Косарев выпустил вдоль ущелья пулеметную очередь. Глубинный повернулся и что-то крикнул ему. Потом, подойдя к скальному обрыву, не сгибая руки, сверху вниз швырнул гранату в самую гущу пестрых халатов. Когда грохот умолк, улеглось черно-желтое облако над каменной «птицей» — на краю ущелья никого уже не было. Глубинный и сам погиб от своей гранаты.

Вновь первозданная тишина воцарилась в ущелье. Набирал силу зной. От солнца, от жажды, от волнения пересохло во рту. Гудело в голове, остро покалывало под сердцем. Косарев стал незаметно переползать к пещере, но косматое облако неожиданно заслонило раскаленное солнце над головой.

Стало темно. Воздух в каньоне посвежел, заколыхался, спружинил и вдруг, свирепствуя, засвистел, завихрился, взвыл — устроил бешеную канитель. К потемневшим склонам ворвалась холодная атмосфера вершин, а от них по образовавшимся воронкам взметнулись вверх отяжелевшие сгустки зноя. Обтекая причудливые скалы, врываясь в горловины ниш, в воронки, желоба, гроты, воздушный циклон устроил в гигантском органе ущелья мощную полифонию звуков, взметнул под облако лессовую пыль, мелкий щебень, сухие ветки гребенчука, травинки.

Из пещеры вдруг выбежала дочь Наби-калона:

— Он умер... Родной, любимый... душманы, душители.

Карусель смерча выбросила на них лохматую тень Ароята. Косарев схватил коня за удила, и тот, успокоившись, застыл на месте.

— Са-ди-ись! — Косарев рывком приподнял девушку к седлу, вырвал плетку, ударил Ароята по дымящемуся крупу.

— Спускайся к речке... Скачи... по правому рукаву, не останавливайся. Слышь, ска-чи-и...

Сам он бросился к пещере. Стал хватать огромные камни, разбросанные вокруг, закладывая ими ходы в нутро гранитного валуна. Работал, теряя сознание, а когда заложил все дыры, волоча пулемет по камням, покачиваясь, полез на вершину своей неприступной крепости. Он знал, что уйти не успеет, что, может быть, эти его шаги будут последними на земле; и последний луч солнца нежно коснулся его небритой щеки, последняя птица пролетела над головой и махнула ему сизо-голубыми крыльями.

Его душа уже не металась в слепом отчаянии. Он сейчас знал, был уверен — Смышлевич ночью выб-

рался по правому ущелью и вместе с золотом пришел в Хатырчи. Это было самое важное. И это жгло его чувством необыкновенной силы, заставляло забыть о смерти, поднимало на ноги и устремляло вперед...

## VI

Всего час, может, меньше бесилась стихия. Омару показалось — прошла вечность. Мгновение назад он был могущественным таксыром — господином своих бородатых бойцов, мог пристрелить, забить плетью любого ослушника. И вдруг все разлетелось в прах: когда краснозвездники были почти в руках, напарники отказались идти под пули и сбились как стадо овец за каменной птицей. Там их настигла бомба большевая. Остальные джигиты ускакали, бросив его, как в пустыне нечестивого ма-хау — прокаженного. Он слышал ржание взнузданных коней, крики: «Отец духов... Помрет, как собака. Ему плов — нам запахи»...

Он тоже что-то кричал в завывающее нутро смерча, стрелял из маузера, срывал с головы чалму, хватал чью-то ногу и пытался вытащить из кованого стремена.

Ускакали... Рабы! Черная кость! Выродки!

Злой рок преследует его, Омара. Грезилось: удача трясет своими прелестями перед глазами судьбы, вот оно, его золото, — бери. Он уже ощущал тонкий холлодок алмазов, тепло бадахшанских рубинов, тягучую муть золота. Разом все рухнуло... Протянул руку — пропало, растворилось, унесло смерчем. Неудачник он. Неудачнику и в чистом озере к заднице прилипает лягушка...

Омар лежал среди камней, бился головой в ярости, и безумство отчаяния охватило его...



День второпях стелил постель сладострастнице ночи. Остывали камни страшного каньона, оседала пыль на выщербленные грани гранитных валунов. Но почему молчит неприступный склон? Ни стопа, ни шороха, ни возгласа. Ушли? Воспользовались суматохой? Унесли золото?

Эта догадка ошеломила. Омар рванул поясной платок, сковывающий могучее тело, и с развевающимися полами халата, маузером в руке, обезумев, кинулся на каменный склон.

Выстрелов, которых он ждал, не было. Ушли... Екнула судорога отчаяния в животе. Он снова бросился на камни, карабкался по склону, разбивал в кровь руки, сопел, мычал, брызгал слюной и, наконец, вывалился на огромное гранитное плато, где, как бусы разорванного ожерелья, лениво лежали обточенные временем уродливые валуны. Омар пополз между ними, вставал, бежал, задыхался, снова полз, пока не увидел почти перед собой одинокую фигуру человека в знакомой ему кожаной куртке.

Человек в кожаной куртке в мареве вечерней зари казался то колдуном-мукаррибуном, ростом от земли до неба, то злым ангелом-малакутом, а то и обезумевшим Меджнуном. Человек в кожаной куртке, пошатываясь, тяжело заносил над горизонтом огромные ноги.

Омар выстрелил ему в спину из маузера, но «мукаррибун» только вздрогнул и не остановился. Тогда страх снова вернулся к Омару. Он кинулся под круглый валун, одиноко лежавший на ровном каменном блюде, и стал одну за одной выпускать горячие пули по привидению. «Мукаррибун» вздрагивал под резкими хлыстами выстрелов, останавливался, снова шел к пылающим сполохам зари.

В приступе ярости Омар бросил тело из-под вала, но что-то многотонное накатилось на плечи и обхватило его холодными ребрами гранита. Он сделал попытку высвободиться — тяжесть удвоилась, утроилась и, наконец, вдавила в грубое скалистое ложе. Огромное каменное «яйцо» угрожающе накатывалось по едва заметной выемке. «Кыммерлайтэган таш — качающийся камень» — мелькнула в закоулках мозга страшная мысль. Только не это! Раздавленному закрыта дорога в рай!

Он всем телом в последний раз попытался высвободиться из-под чудовищной силы, но напряженным горлом хлынула кровь. Стальные блески гранита засветились, запрыгали перед ним теплыми огоньками бадахшанских рубинов...

## VII

Алое пламя на западе, как полотно на экране, колыхалось волнами оттенков и быстро расползлось по бирюзово-синему вечернему небу. В мареве возникали минареты, купола мечетей, святые мазары, оскаленные бойницы крепостных стен. Все это ломалось, разрывалось на куски, таяло и исчезало в пространстве.

Человек, шедший навстречу всполохам, вспомнил слышанные где-то слова: «На мусульманские города с неба нисходит благородный свет, и только над Бухарой он поднимается столбом к небу, источаемый святынями»... Человек вспомнил, как вместе с другими красноармейцами кощунствовал в Бухаре, как сбивал с ее священных торговых куполов и мечетей выбитые в мраморе суры из Корана, как бросал свои окурки в священный для бухарцев бассейн Ляби-хаус, как свя-

тотатствовал в суфийской обители-ханаке Касим-шейха.

Для человека святыней была революция, которая топила все живое в крови, губила нищего дехканина, богатого ростовщика, землевладельца и воинов. Он был одержим идеей всеобщего равенства, ради которого надо пролить эту кровь.

Человек прошел еще метров сто, остановился, рухнул на теплые камни и болезненным воображением услышал в сумерках сигнал кавалерийской полковой трубы. Сигнал зари: «Всадники-друзи, в поход собирайтесь. Радостный звук вас ко славе зовет. Быстро коней боевых оседлайте, двинемся в дальний, нелегкий поход».

И новый сигнал:

«Скачи, лети — стре-е-лой!..»

1974 г.

## SUMMARY

Salim Fatykhov has devoted decades for writing his work «The World History of a Woman», however he also wrote his prose experiments and some of them are only lately rediscovered in his home archive . Unfortunately a significant amount of what was written is hopelessly lost, but a few short stories and unfinished sketches are still remained in some form. This gave an idea of artistic searches of their author.

This collection of prose unpublished in large print that is called by author «Instant Life» and divided it into two parts . In the first «Here and Now» are small prosaic stories which are reflecting the pseudo-optimistic and a tragic ending Soviet way of life in the late 60s and mid 70s. In the second «There and Then» author attempts an artistic reconstructions of the prehistoric (aka. Paleolithic) life style of the early humans, he also covering a historical period of the Middle Ages and the first quarter of XX century that includes experience of the political conflicts by the characters in these hypothetical eras.

## ОБ АВТОРЕ

Фатыхов Салим Галимович — российский общественный деятель, журналист, доктор культурологии, поэт, писатель, автор семи книг. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. В 2007 году награжден Российской академией естественных наук Почетной серебряной медалью Екатерины Дашковой.

Живёт в г. Челябинске, работает в Челябинской государственной академии культуры и искусств.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Часть первая. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

*(прозаические опыты о настоящем)*

КРУГОМ ЛЮДИ... <i>(зарисовки к рассказу)</i> .....	4
ГРАМОТА ИСПОЛКОМА <i>(этюд)</i> .....	21
ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ <i>(новелла)</i> .....	26
ПОСЛЕДНИЙ МОТИВ <i>(набросок)</i> .....	31
ПИЧЧИРИЛЛО <i>(эпизод за Полярным кругом)</i> .....	33
НЕИЗЛЕЧИМЫЙ БОЛЬНОЙ <i>(уголки детской памяти)</i> ...	44
БЫЛИ ГОСТИ... <i>(случай)</i> .....	48
СТЕПНАЯ СТРАДАЛИЦА <i>(быль)</i> .....	51
ДЕДУШКА И АЛИМ <i>(новелла)</i> .....	58

### Часть вторая. ТАМ И ТОГДА

*(опыты исторических реконструкций  
мгновений бытия)*

ПАЛЕОЛИТ: В УЩЕЛЬЯХ ДИКОБРАЗА <i>(рассказ)</i> .....	70
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ЧЕЛОВЕК ВСЕХ РЕЛИГИЙ ИЛИ СОЛНЕЧНЫЙ СУФИЙ <i>(фрагменты недописанной повести)</i> .....	92
XX ВЕК: КРАСНЫЙ МЕДЖНУН <i>(приключенческая повесть)</i> .....	140
Summary .....	180
Об авторе .....	181

Литературно-художественное издание

Фатыхов  
Салим Галимович

# МГНОВЕНИЯ БЫТИЯ...

Неопубликованная проза 60-х  
и середины 70-х годов

В оформлении обложки  
использованы петроглифы  
«Солнечный лев» и  
«Танец антропоморфных львят»  
(находки и фото автора),  
а также репродукции картин  
Бальчанда «Состязания акробатов»  
и А.Н.Волкова «Фергана. Кишлак»  
(Государственный музей Востока, г. Москва)

Технический редактор:  
С.И. Недвига

16 +

Подписано в печать 10.11.2014 г.  
Формат 62 x 92 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печать цифровая. Бумага ВХИ-80 г.  
Усл. п. л. 11,5.  
Тираж 300 экз. Заказ № 5740.



**МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ**

455023, Челябинская обл., г. Магнитогорск,  
пр-т Карла Маркса, 69.

Тел. (3519) 26-14-95, факс (3519) 26-15-01.

E-mail: [po@mdp.mgn.ru](mailto:po@mdp.mgn.ru), [mdp@mgn.ru](mailto:mdp@mgn.ru)

[www.print.mgn.ru](http://www.print.mgn.ru)